

Методологическое введение

Любая книга — это объемное и композиционно внятное обсуждение чего-то. Но ведь не чего угодно! Чего же? Есть протокольные и ничего не выражающие формулировки, согласно которым обсуждаемое должно быть «актуальным»... Или «общезначимым»...

Давайте для начала договоримся называть любое обсуждаемое вопросом. И признаем очевидное: что есть вопросы и актуальные, и общезначимые, но... мертвые. А есть вопросы, вроде бы и гроша ломаного не стоящие, но живые. Состояние вопроса (живой он или мертвый) является главным условием возможности (или невозможности) написания книги, в которой этот вопрос обсуждается. При этом состояние вопроса — изменчиво. Сегодня тот или иной вопрос — живой и все помирают от желания его обсуждать. А завтра он — «мертвее мертвого». И обсуждать его тогда бессмысленно. Ну, бессмысленно, и все тут. То, как этот вопрос из живого превратился в мертвый, обсуждать можно. А сам вопрос — ни-ни.

Что значит — «ни-ни»? Об этом можно отдельную книгу написать. Сослаться на Дильтея с его философией жизни, на метафизику живой и мертвого. Но я же не собираюсь на эту тему книгу писать. И потому воспользуюсь принципом разъясняющих метафор.

Вы участвуете в танцевальном вечере. И можете выбрать себе партнершу, которая — тут хозяин барин — может быть блондинкой или брюнеткой, худышкой или толстушкой, низенькой или дылдой, и так далее. Но если вы вместо партнерши притащите на танцевальный вечер изрядно истлевший труп, скелет из анатомического кабинета или даже очень убедительный в плане человекоподобия манекен, то можно ли ваше вальсирование с подобными объектами назвать участием в танцевальном вечере? Это можно назвать эпатажем, попыткой сорвать танцевальный вечер или же попыткой превратить невинный вечер танцев в вампуку, хэппенинг или даже черную мессу. Но участием в танцевальном вечере это, согласитесь, назвать ну никак нельзя.

Вот то же самое и с обсуждаемыми вопросами. С той лишь разницей, что манекен от живого человека отличить — пара пустяков.

А живой вопрос от мертвого – поди еще отличи. Кроме того, манекен – это, так сказать, навсегда. А вопрос... Он сегодня живой, завтра мертвый, послезавтра – опять живой.

Скажут: «И слава богу! Сумели угадать, что вопрос снова оживет, начали его обсуждать заблаговременно – выиграли будущее. А другие пусть себе упиваются обсуждением разного рода сиюминутностей». В полемической запальчивости чего только не скажешь. А как поостынешь да пораскинешь мозгами, то обнаружишь, причем с беспощадной очевидностью, что никто и никогда в книгах не обсуждал вопросов, мертвых на момент написания книги.

В таких случаях иногда (кстати, крайне редко) сочиняется какой-нибудь секретный манускрипт. Или – проводится узкий коллоквиум в кругу ценителей, особо безразличных к сиюминутному. Но книги пишутся и печатаются только ради обсуждения живых вопросов. Причем – подчеркну еще раз – живых именно на момент, когда создается книга. По качеству своему книги – чем отличаются друг от друга? Тем, насколько автор продвинулся вперед в плане разрешения того или иного, но именно живого – большого, животрепещущего на момент написания книги – вопроса. Никто не мог этот животрепещущий вопрос разрешить, а ты разрешил. Никто даже подходов к решению такого вопроса найти не мог, а ты нашел. Никто не понимал, насколько вопрос животрепещущий, а ты понял. Понял и другим объяснил.

Но мертвый вопрос в книге обсуждать, рассчитывая на его воскрешение, бессмысленно и смешно. Вопросы, знаете ли, не так воскрешают. Почему не так? Потому что... вас, видимо, моя метафора с танцевальным вечером не убеждает? Приведу еще одну. Более грубую, но, как мне кажется, доходчивую донельзя. Вы можете восхищаться мраморной статуей Праксителя. Но детей, коль скоро вы соберетесь их заводить, вы заводить будете от живой женщины. Наверняка менее совершенной, чем эта статуя, но живой. Вот так и с книгами... Они суть дети авторского брака с живым вопросом. Уверяю вас, что между этой моей метафорой и ситуацией с созданием книги соответствие абсолютное. То, что называется «один к одному».

Понимая, что никакие метафоры никого никогда ни в чем окончательно убедить не могут, я долго подыскивал убедительный и небезынтересный пример. И не абы какой, но и наглядный, и имеющий отношение к вопросу, который я вознамерился обсуждать в

этой книге. То бишь к судьбе развития. А когда я, наконец, подыскал отвечающий этим требованиям пример, то мне стало как-то не по себе. Но тем не менее я его приведу.

Мы не обсуждаем сейчас проблему полета человека на Марс. Я имею в виду под «мы» общество, достаточно широкие группы мыслящих людей, а не очень узкие коллективы специалистов. Такое «мы» сегодня очевидным образом не обсуждает полет человека на Марс. Но вчера оно обсуждало этот вопрос, да еще с какой страстностью! «Вчера» — это пятьдесят и более лет назад. «Сегодня» — это... Это сегодня, в 2009 году, когда пишется данная книга.

Значит, вопрос «полет человека на Марс» вчера был живым, а сегодня очевидным образом является мертвым. И это при том, что технических возможностей у человечества сегодня уж никак не меньше, чем вчера. А вот желания тратиться — эмоционально, интеллектуально, даже экзистенциально — на обсуждение этого самого полета на Марс... Нет его сегодня, этого желания, и все тут.

Можно спорить по поводу того, почему в 1959 году страсти по поводу полета человека на Марс были накалены до предела, почему в 1968 году страсти эти подостыли, а в 1978 от них не осталось и следа...

Можно соотносить эту метаморфозу с очень и очень многим, включая и впрямь не лишённые странности советско-американские договоренности об одномоментном двустороннем замораживании (а на самом деле закрытии) проектов «Союз» и «Аполлон»...

Но это не значит обсуждать проблему полета человека на Марс. Это значит обсуждать подоплеку определенных международных элитных игр... Ее-то можно обсуждать... А полет на Марс — почему не обсуждается, а? Только потому, что актуальность той или иной темы и ее элитная востребованность взаимосвязаны?

На первый взгляд, это действительно так... Зачем обсуждать тему полета человека на Марс, если ясно, что все, кто мог бы поднапрячься и послать на Марс этого самого человека, (а) поднапрячься явным образом не хотят и (б) абсолютно не понимают, на черта им этот самый человек на планете Марс.

Так-то оно так... Но в эпоху Жюль Верна, то есть не вчера даже, а поза-позавчера, никакие элиты человека на Марс отправить не могли, а публика зачитывалась соответствующей литературой. Да и в эпоху «Аэлиты», то есть позавчера, тоже зачитывалась. Да и в последующую эпоху, то есть вчера... Зачитывалась же, согласитесь!

Причем не только научно-фантастической, но и научно-популярной литературой, в которой этот вопрос обсуждался.

В пользу этого моего утверждения можно привести доказательство «от противного». Есть такой старый и далеко не безобидный советский фильм «Карнавальная ночь». В нем комедийный артист Филиппов играет лектора, которому профком заказал лекцию по вопросу о жизни на Марсе. Лектор надирается в стельку и вместо лекции отплясывает буйный кавказский танец, приговаривая: «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — это науке неизвестно... асса!».

Казалось бы, это пример на тему о том, что к моменту снятия Эльдаром Рязановым фильма «Карнавальная ночь» вопрос о жизни на Марсе, а значит и о полетах на Марс, был уже мертвым. Ан нет! Профсоюзный комитет почему-то заказал лектору лекцию по вопросу о жизни на Марсе... А почему он заказал лектору лекцию на эту тему, а не на какую-нибудь другую, например, о здоровом образе жизни? Ответ однозначен: потому что на момент создания фильма этот самый «марсианский» вопрос был еще жив и в каком-то смысле грел коллективную советскую народную душу. А создателю фильма это очень не нравилось. И он это высмеивал. То бишь убивал живой еще, к его сожалению, вопрос.

Но даже для того, чтобы он мог этот вопрос высмеивать, вопрос должен был быть живым. И в том, что он его высмеивает, абсолютное доказательство того, что вопрос был живым. Не был бы он живым — никто бы не понял юмора. Профком — он ведь не профессор из планетария, которому что мертвый вопрос, что живой. Профком на то и профком, чтобы держать нос по ветру. Не грел бы в каком-то смысле «марсианский» вопрос коллективную душу, профком на другую тему лекцию бы заказал.

Другое дело, что профком (для Рязанова — метафора цепляющейся за уходящий сталинизм власти) считает, что на празднике надо возвышать массы с помощью лекций, а Рязанов и те новые властные группы, которые его поддерживают, считают, что на празднике массы надо, как минимум, ублажать, а как максимум, развращать. Но выбрать тему для лекций в соответствии с общественными умонастроениями профком может. И приглашать лектора для обсуждения мертвого вопроса (например, о роли такого-то иероглифа в такой-то надписи, обнаруженной в храме бога Тота) профком не будет.

Фильм «Карнавальная ночь» — это то, что называется «фига в кармане». Но для того, чтобы такую фигу соорудить, надо испытывать глубокое раздражение (а) в связи с нежелательной престижностью в глазах народных масс возвышающего начала, олицетворяемого лекциями на праздниках, вообще и (б) в связи с престижностью в глазах тех же масс вопроса о контактах с братьями по разуму, якобы проживающими на планете Марс, в частности. Раз раздражение было и отлилось аж в весьма популярный фильм — значит, и престижность была. И кто-то мог бы ответить Рязанову, да и всем другим, начавшим обсуждение целесообразности лекций о жизни на Марсе в новогоднюю ночь: «Вам идея такой лекции не нравится? Значит, скучный, серый вы человек. Вы, может быть, и против того, чтобы к нам космонавт на новогодний вечер приехал?»

Кстати, я помню одну свою детскую новогоднюю елку в Кремле. Хитом этого праздника было появление на нем космонавтов. Космонавты пытались исполнить песню «Заправлены в планшеты космические карты»... Они были пьяны вусмерть — куда там лектор из фильма «Карнавальная ночь»! Они и слов воспроизвести не могли, и на ногах с трудом держались. Но как все радовались тому, что космонавты с ними, на новогоднем кремлевском вечере... Почему радовались? Потому что вопрос об освоении космоса (а значит, о жизни на Марсе и так далее) был живым. А когда он стал мертвым, то что космонавты, что лектор. Тогда сначала радуются в случае появления на вечере популярного эстрадного певца, а потом радуются количеству и качеству закусок и горячительных напитков, и ничему более.

Так умирают вопросы. А вместе с ними — очень и очень многое. Но я-то хочу обсудить в книге не смерть тех или иных вопросов; не то, как умирает некий общественный интерес, например, интерес к освоению космоса; не то, умирает ли этот интерес сам собой или же его убивают; не то, каковы принципы формирования общественной повестки дня, то есть системы живых интересов; не субъектов, формирующих повестку дня; не степень волюнтаризма этих субъектов; не степень их же обусловленности потребностями, от воли субъектов не зависящими... Я хочу обсудить — живой, как я убежден (пока живой... как ни странно, живой...), — вопрос о судьбе развития в России и мире. И я привожу пример вопроса уже мертвого с тем, чтобы понятно было, чем вопрос мертвый отличается от живого. Пример мой, согласен, скверный. Но

ведь и убедительный, и не чуждый в каком-то смысле тому, что я в книге обсуждаю — судьбе развития.

Убежден ли я, что вопрос о судьбе развития в России и мире не умер так же, как вопрос о том, есть ли жизнь на Марсе? Да, убежден. Другое дело — могу ли я убедить читателя. Для того, чтобы его убедить, нужны объективные доказательства. А возможны ли объективные доказательства в том, что касается состояния умов, притягательности для этих умов тех или иных проблем, общественных умонастроений?

Являются ли тут доказательствами, например, так называемые соцопросы? Я считаю, что не являются. И не я один. Многие выражают скепсис по отношению к возможности замерить с помощью обычных анкет то, что касается глубоких, трудно формализуемых характеристик жизни общества в целом. Да и жизни отдельных социальных групп.

Признающие это предлагают в подобных случаях применять не анкеты, а глубинные социальные зондирования. Для проведения таких зондирований формируются так называемые «фокус-группы». Дело долгое, трудоемкое, высокочеловеческое — и тоже безусловное. Потому что неорганическое. Участники фокус-групп — зачем приходят в эти группы? Им либо деньги платят, либо у них есть какой-то специфический интерес. Я так вот ни в какую фокус-группу не пойду. Мне раз в неделю какая-нибудь социологическая контора присылает предложение в чем-нибудь поучаствовать. Заполнить какую-нибудь анонимную экспертную анкету. Я этого никогда не делаю. И опять же понятно, почему. Мне жаль времени, я вижу в этом (а почему бы нет?) попытку посылающих мне вопросники вовсе не узнать мое мнение с благородными научными целями, а осуществить нечто типа «разведмероприятия» (подточнить мой психологический портрет и так далее).

Итак, я эти вопросники раз за разом выбрасываю в мусорную корзину. И не я один. А те, кто не выбрасывает, заполняют их, исходя из мотиваций не гносеологического характера. Мотивации эти просты — либо деньги, либо некие возможности поучаствовать в ведущейся игре, создав нужные крены в пользу субъектов, безразличных для участвующих. То есть опять же деньги.

А значит, все эти анкеты — штуки искусственные, деформированные. И считать прямую обработку таких анкет доказательствами

ми чего-либо — нельзя. А уж в таком тонком вопросе, как общественный интерес, — тем более.

Итак, социальным опросам я не верю и их доказательствами не считаю. Фокус-группам тоже не верю. Доказательствами их данные опять-таки не считаю. Кроме того, ни обычные соцопросы я не буду проводить, ни фокус-группы сооружать.

Возможны ли тогда доказательства? Да, представьте себе, возможны. Оставим в стороне обычные соцопросы. Тут слишком очевидно, что репрезентативных данных по их результатам получить нельзя. И рассмотрим фокус-группы с позиций pro и contra. Что нас не устраивает в фокус-группах, которые, казалось бы, могут дать искомые доказательства? Их искусственность. Это не органический социальный эксперимент. Но ведь есть и органические, они же полевые, социальные эксперименты. Не зря ведь говорят, что единственный доказательный соцопрос по поводу предпочтений электората — это выборы. Выборы — это примитивный органический социальный эксперимент, проводимый в особо крупных размерах. Есть ли возможность провести органический социальный эксперимент, аналогичный искусственным фокус-группам? А значит, и лишенный недостатка фокус-группы (искусственности), и обладающий позитивом фокус-группы (необходимой глубиной)?

Да, такой эксперимент возможен. Хотите проверить, есть ли живой общественный интерес к какой-то теме — напишите текст на эту тему и замерьте органические реакции в том, что является органическими аналогами искусственных фокус-групп. То есть в близкой вам читательской среде. Если эта среда не исчерпывается немногими вашими знакомыми и близкими, то это будет социальный эксперимент, равный по глубине фокус-группе, но органический, а не искусственный. То есть такой эксперимент, данным которого можно верить.

Но если для проведения эксперимента нужен текст, то, казалось бы, возникает замкнутый круг. Доказательства тебе нужны для того, чтобы создать текст, но если ты их можешь получить только после того, как текст создан, то зачем тебе эти доказательства?

В рассматриваемом мною случае как раз и нет этого порочного замкнутого круга. Потому что вначале я создал предваряющий текст, а теперь берусь за текст окончательный.

В качестве предваряющего текста я напечатал с марта по ноябрь 2008 года в газете «Завтра» подряд, одну за другой, 36 полос-

ных статей под общим названием «Медведев и развитие». Этот текст и полученные на него реакции как раз и стали для меня тем первичным социальным экспериментом, ориентируясь на который я теперь могу заниматься сразу многим. Например, накапливать данные для той теории, которую собираюсь изложить в этой книге. Но и не только.

Я могу также по реакциям на этот текст судить о том, насколько жива тема развития в современной России. Да, я считаю социальными доказательствами реакции читателей. Но какие еще возможны доказательства? И чем эти доказательства хуже соцопросов или фокус-групп? По мне, так они намного лучше и объективнее! По крайней мере, они получены в полевых условиях и носят органический, а не искусственный характер.

Реакции на эти мои статьи я описываю так же, как социолог, прошедший марафон и выявивший предпочтения участвующих в нем людей, описывал бы результаты марафона. Но только речь идет — подчеркну еще раз — об уникальной возможности провести предваряющий марафон в полевых условиях. Не знаю, будет ли у меня еще когда-нибудь такая уникальная возможность. Но в данном случае она есть. И грех было бы ее не использовать.

Внутри того, что я называю массивом данных, полученных в результате марафона, есть несколько «полюсов».

Полюс №1 — это несколько моих близких друзей, которые (что в принципе свойственно определенным категориям близких друзей) отнюдь не склонны читать все, что я написал. А также ходить на мои клубы и так далее.

Люди эти занимали высокие должности и продолжают входить в политическую элиту. К нынешней власти, ее желанию что-либо развивать, ее потенциалу и всему прочему они относятся, мягко говоря, более чем скептически. Соответственно, они относятся скептически и ко всему остальному. К процессам, происходящим в России. К обществу, поддерживающему власть. Мне лично казалось, что преодолеть подобный усталый панскептицизм уже вообще невозможно.

Каково же было мое изумление, когда я вдруг увидел, что все мои полосы в газете «Завтра» — одна за другой — жадно читаются подобными скептиками. И не только читаются! Активно обсуждаются, ксерокопируются, посылаются знакомым и так далее. Это крайне атипичное поведение для данной категории людей. Пове-

ление — повторяю — никак не являющееся следствием симпатии указанных людей ко мне лично.

Ибо никакие другие мои публичные мессиджи у этих же людей такого отклика не получали. А значит, их реакция может касаться только самой темы развития. Поразительным образом она жива и в этих сердцах. Пусть те, кто может проводить более развернутые исследования, отвергнут мои апелляции к штучным замерам. Но для меня лично эти замеры убедительны. А в каком-то смысле и доказательны.

Полос №2 — достаточно многочисленные отклики типичных (консервативно-патриотических) читателей газеты «Завтра». Которые умствований не любят вообще, а умствований на политически недоопределенную тему — тем более.

Не с моей личностью связана позитивность этих откликов на весьма усложненные построения, которыми изобиловали мои 36 статей. Просто развитие нужно дозарезу и этой аудитории. Оно так нужно, что аудитория готова продираться сквозь любые усложнения. Ощущая, по-видимому, что и впрямь или развитие — или смерть любимой страны. Чем подобные отклики менее доказательны, чем материалы соцопросов и фокус-групп? По мне, так они гораздо более доказательны. Потому что, повторяю, естественны.

Полос №3 — позитивные отклики на те же мои статьи достаточно многочисленных представителей нашего общества, которые газету «Завтра», а заодно и меня, как ее постоянного автора, на дух не переносят.

Эти отклики наиболее показательны. Ибо их совсем уж нельзя списать на фактор личности или фактор издания. Личность чужда, издание — тем более. А отклики есть. И это очень ценный социальный замер.

Киоскеры, продающие газету «Завтра», — люди с твердыми убеждениями и без особых фантазий. И если они делились с менеджерами, организующими продажу газеты, своими недоумениями по поводу спроса на газету со стороны атипичного для нее читателя... Если они однозначно указывали на то, что спрос этот обусловлен моим нескончаемым сериалом, то... Одним словом, суждениям этих «профи» можно верить не меньше, чем исследованиям самых непредвзятых социологических центров.

К сожалению, я по определению не могу иметь никаких других доказательств того, жив или мертв вопрос, обсуждению которого я собираюсь посвятить эту книгу.

Мне бы хотелось иметь доказательства, не связанные с реакциями на мои же собственные тексты. Но заниматься формальной социологией по вопросу о том, жив или мертв в нынешней России вопрос о развитии, я считаю глупым. И как бы ущербны и субъективны ни были приведенные мною данные, по мне, так они лучше любых других.

Окончательной доказательности по обсуждаемому вопросу в принципе быть не может. Но то, чем я располагаю, дает мне личное субъективное право заниматься судьбой развития в современной России, отчужденной от развития, как никогда ранее. А для начала нужно только это личное субъективное право. Всего-то нужно верить и знать, что не безжизненный манекен выбираешь в виде партнерши на танцевальном вечере. Не от мраморной Афродиты ждешь прибавления собственного потомства.

«Ну, и ладненько», — скажет покладистый читатель, намекая на необходимость подводить черту под предваряющими рассуждениями и переходить к обсуждению основного вопроса. А читатель менее покладистый, даже признав, что вопрос, который я собираюсь обсуждать, жив, атакует меня, обнажая композиционную, а значит и любую другую противоречивость моего начинания.

«Вы ведь, — скажет он, — не хотите, создавая книгу, стирать начисто все черты тогдашнего — что-то и впрямь задевшего в обществе — газетного марафона. И глупо было бы с вашей стороны эти черты стирать. Но тут куда ни кинь — все клин. Стирать глупо, но и не стирать их, знаете ли, не слишком умно. А главное — контрпродуктивно. Ведь у газетного сериала — одна, на злобе дня основанная, архитектоника. Книга же не вправе воспроизводить оную. Одно дело — предоставление определенного, чуть ли не системообразующего места высказываниям Путина и Медведева о развитии в газетном материале, создаваемом по горячим следам этих высказываний. Другое дело — сохранение того же места (а как вы его измените, не убивая архитектонику?) в книге. Путин и Медведев вяло произносили какие-то слова о развитии с 2000 по 2008 год. Потом они в 2008 году (в связи с выборами президента РФ) те же слова произнесли чуть более живо. В статьях, которые были одномоментны этим — тогда еще для говорящих и слушающих немаловажным — высказываниям, ваше отстраивание от этих высказываний оправданно. А вот в книге...

Уже теперь, в 2009 году, эти высказывания явно поднадоели даже их авторам. Что же касается слушателя этих высказываний, то он

благополучно (или неблагоприятно, то есть еще более прочно) забыл, что, когда и зачем говорили о развитии эти авторы, они же по совместительству — высочайшие должностные лица России. Развития как не было, так и нет. Сколько ни говори "сахар" — во рту сладко не станет. Вдобавок развитие теперь существенно оттеснено на периферию общественного внимания другими вопросами, прежде всего, глобальным экономическим кризисом. Это — уже теперь!

Между тем издание книги (вы ведь не сборник статей издать хотите, а книгу, и понимаете разницу!) предполагает, что ее прочтает кто-то... ну, не через пятьдесят, так через десять лет. И что к этому времени забудутся не только сказанные по прагматическим причинам слова высочайших должностных лиц прошлого, но и... Скажем так: очень и очень многое. По крайней мере, текст под названием "книга" (а это специфический текст) должен выдержать испытание забвением и самих высоких должностных лиц, и их слов, и реальных причин, эти слова породивших».

Объясниться с таким, особо требовательным, читателем — моя прямая и очевиднейшая обязанность. Что же я должен ему ответить? Что при всей кажущейся очевидности его утверждений они неверны.

Прежде всего, они неверны даже безотносительно к способу обсуждения вопроса о судьбе развития в России и мире, который я выберу. Предположим, что рассматриваемые высшие должностные лица достаточно вяло произнесли нечто о развитии. И это нечто безусловно как с интеллектуальной, так и с политической точки зрения.

Предположим, далее, что это «нечто» тем не менее возбудило почему-то весьма влиятельные международные группы. Почему возбудило? Какие группы? Это надо обсуждать.

Но предположим, что и группы не являются плодом моей фантазии (что я могу доказать), и возбуждение этих групп реально имело место.

Предположим, наконец, что это возбуждение повлияло на конфликт, который, начавшись с вторжения Грузии в Южную Осетию, чуть было не перерос в войну России и Украины и в глобальный международный конфликт.

Я пока что не говорю, что это так. Я говорю лишь: предположим, что это так.

Можно ли — теперь уже не публицистически, а исторически — игнорировать высказывания и пренебрегать ими в условиях, ког-

да они породили такую цепь последствий? Понятно, что нельзя. А ведь процесс не завершен! Он очевиднейшим образом не завершен! А значит, историческое и политическое неразрывно связаны. Не является ли в таких условиях пренебрежение к определенным высказываниям, пусть и заслуживающим тех оценок, которые я вложил в уста требовательного читателя, непозволительным и неуместным снобизмом? Читатель был бы прав, если бы в книге моей высказывания, заслуживающие подобных оценок, рассматривались как нечто самозначимое. Но ведь этого я не делал и в газетных статьях. И, уж тем более, не собираюсь делать в книге.

Что еще мы можем предположить? Как ни странно, очень и очень многое. Например, что достаточно блеклые и неубедительные высказывания, подхваченные кем-то в связи с тем-то и тем-то, могут стать элементом какой-то большой игры. Можем ли мы тогда пренебрегать высказываниями?

А если эти высказывания обнаруживают определенную повторяемость чего-то? А это «что-то» заслуживает самого разнообразного рассмотрения, вплоть до историософского и метафизического?

А если за высказываниями, обладающими такими-то и такими-то характеристиками, есть масштабные интересы? Если высказывающиеся фигуры — неадекватным, как нам представляется, способом обсуждающие развитие — на самом деле в каком-то смысле что-то для себя с этим развитием связывают? Неважно пока, в каком смысле они что-то связывают... Неважно, что именно они связывают... Главное — есть ли связь между словами и... не скажу делами, но интересами.

Если эта связь есть, а интересы масштабны, почему, говоря научным языком, должны быть элиминированы слова? Потому что Путин не Гегель, Медведев не Кант, оба они не Ленин со Сталиным? Но такой мотив элиминации, простите меня, носит совершенно богемный и потому не только неубедительный, но и комический характер. Ведь где есть одни интересы, там есть и другие. За словами — любого качества — маячит чуть ли не классовый по масштабу антагонизм интересов, но слова надо элиминировать по причине их качества? Ну, так это... Это, перефразируя классика, «с салонной точки зрения — правильно, а по существу — издевательство».

А если с политической точки зрения высказывания, которые, по мнению требовательного читателя, надо элиминировать, ока-

жутся крохотным импульсом, запускающим огромный процесс, не имеющий ничего общего с развитием, но способный самым сокрушительным образом сказаться на судьбе России и всего мира?

Если, повторяю, этот процесс будет сам по себе, а развитие само по себе, но запуск процесса будет произведен высказываниями о развитии, которые мой требовательный оппонент третирует? Что, и тогда эти высказывания не надо рассматривать, ссылаясь на их необедительный и сугубо преходящий характер?

А не уподобляется ли в этом случае мой требовательный читатель субъекту, который, обсуждая движение машины, не хочет заниматься рассмотрением запускающих процессов (так называемой *искры*) в двигателе внутреннего сгорания и говорит: «Да причем тут *искра*! Это все так мизерно! Давайте говорить о движении огромной машины, о том, как она ударилась в дом, а дом рухнул, а это обрушение повлекло за собой...»

Таковы вкратце мои соображения касательно принципиальной — и не зависящей от способа обсуждения вопроса о судьбах развития в России и мире — неправоты требовательного читателя.

Но есть еще и соображения, касающиеся той же неправоты, но уже в контексте способа обсуждения вопроса. Они таковы.

Обязательная для публицистической политической литературы апелляция к — синхронным с появлением произведений этой литературы (статей, выступлений etc.) — политическим событиям и высказываниям при других способах обсуждения того же вопроса может быть или трансформирована, или отменена. Все зависит от способа.

При применении одного способа все, что было сказано VIPами, так сказать «к дате», должно быть из книги элиминировано, то есть начисто убрано. Именно начисто! Не сведено к минимуму, а просто вымарано — и всё.

При другом же способе обязательность публицистической апелляции к подобным высказываниям не отменяется, а превращается в обязательность сравнительно-историческую... А также эвристическую и... мало ли какую еще.

А раз так, то пора, договорившись с читателем о том, что обсуждать судьбу развития в России и мире все-таки стоит (вопреки, повторяю еще раз, очевидной для меня регрессивности нынешнего российского бытия, а может быть, парадоксальным образом и благодаря оной), рассматривать теперь СПОСОБЫ обсуждения

данного (равно как и всех прочих) вопроса. Те способы, от выбора одного из которых зависит и отношение к чьим-то ситуационно обусловленным и проблематичным по содержанию высказываниям, и... И нечто намного более важное.

Вы хотите обсуждать нечто? В вашем распоряжении только два способа.

Используя первый, вы обсуждаемое нечто называете «темой». Назвали? Ваше обсуждение сразу же становится «разговором на тему о...». Такой разговор может быть шутовым и серьезным, поверхностным и фундаментальным. И даже исповедальным... Одна из книг Бориса Ельцина называлась «Исповедь на заданную тему». А почему бы нет? Исповедь – это тоже «разговор на тему о...» Недаром доверительный разговор часто называют исповедальным...

Короче – если бы я хотел назвать «судьбу развития в России и мире» темой, то разговор с читателем на данную тему назвал бы беседами... «Беседы о развитии» – чем плохо? Лично я считаю, что тестом на сопричастность классическому (кто-то скажет «старому доброму») гуманизму является способность вести беседы. Гуманистическая философия – это всегда беседа. Парадоксальным примером, подтверждающим правоту этого утверждения, является, по моему мнению, творчество величайшего антигуманистического философа Фридриха Ницше. Ну, не может Ницше вести беседу, и все. Хочет, но не может. Начинается все с попытки побеседовать (то есть пофилософствовать в старом смысле слова), а кончается невесть чем. Скандалом, науськиванием, заклятием и так далее. То есть всем, что несовместимо с беседой.

Итак, нужно всего лишь назвать то нечто, которое я хочу обсудить, темой. А дальше все как по накатанной колее, задаваемой первым (тематизирующим) способом обсуждения чего угодно. В том числе и судьбы развития в России и мире.

Но в том-то и дело, что не хочу я двигаться по этой накатанной колее. Не хочу называть судьбу развития в России и мире темой. Не хочу беседовать! До тошноты не хочу! Кстати, захотел бы – никаких методологических введений сочинять бы не стал... Потому что... Впрочем, вначале о том, почему я не хочу двигаться по этой самой накатанной колее. Она же – первый способ обсуждения чего бы то ни было.

Не потому я не хочу по этой колее двигаться, что являюсь принципиальным «беседофобом». Вот уж чего нет, того нет. По мне, так

в том, что несет с собою почитаемое мною слово «беседа», есть важная сегодня, как никогда, несуетливая человечность. Она же — интеллигентность в подлинном смысле этого слова. Человечности вообще и несуетливой в особенности катастрофически не хватало уже XX веку. Новое же столетие, грозя перекрыть в своей антигуманности столетие предыдущее, лишено начисто не только способности беседовать, но и понимания того, как оно искромсано и обкрадено отсутствием этой способности.

XXI век выступает под знаменем всех и всяческих «пост» — постистории, постмодерна... Постгуманизма... Постчеловека... На наших глазах это — с рождения дряхлое — дитячко приобретает отчетливо ликвидационный характер... Невозможности, о которых только и лепечет яростно это с рождения больное дитя (невозможность новизны, идеала, будущего, подлинности, телеологии, а значит, и аксиологии), чреватые неслыханными по жестокости конвульсиями, с явной издевкой именуемыми «гуманитарными акциями». Нам остается ждать, когда эти «гуманитарные акции» задействуют, наконец, ядерное (или химическое, бактериологическое etc.) оружие массового уничтожения. Но раньше, чем это оружие начнет ликвидировать «антропологические избытки» физически, эти избытки согласятся на свое отчуждение от единственного, что не позволяет их совсем уж холодно ликвидировать, — от развития.

То есть, конечно же, и при неотчужденности от развития эти «избытки» физически ликвидировали в прошлых столетиях. Да еще как!

Но, во-первых, это делалось не бесстрастно. Кто-то орал освенцимским ликвидаторам: «Изверги! Что вы делаете!» Ему, оравшему, ликвидаторы отвечали: «Никакие мы не изверги. Мы делаем доброе дело — слуг сатаны изводим под корень». А вот если «антропологические избытки» будут сами по себе, а развитие — само по себе, то какие страсти? Если вам докажут, что оптимизация мясо-молочной промышленности требует сокращения крупного рогатого скота на 50%, то вы ведь не начнете орать на зоотехников: «Изверги!»?

Нет развития как чего-то неотчуждаемого от антропоса — нет и антропоса как венца Творения.

Нет антропоса как венца Творения?

Тогда чем он, антропос этот, от крупного рогатого скота отличается? Или от куриц, кудахтающих в своих комфортных курят-

никах? Голландские курятники на несколько порядков более комфортны, чем иные людские жилища. И что?

Итак, во-первых, до отчуждения антропоса от развития его количественные коррекции (те же геноциды, к примеру) осуществлялись не бесстрастно. А после отчуждения антропоса от развития и вытекающего из этого отчуждения превращения человечества как совокупности *homo sapiens* в антропомассу, в специфическую разновидность высокоорганизованного скота, то же самое будет делаться бесстрастно. А во-вторых...

Требовательный и нетерпеливый читатель, реагируя с ходу на «во-первых», наверняка спросит: «А не все ли равно? Какая для "антропологического избытка" разница – будут ли его ликвидировать страстно или бесстрастно?»

Так вот, нетерпеливый взыскатель разницы, не давший мне закончить... Во-вторых, бесстрастная по своему качеству ликвидация отчужденных от развития избытков оскотиненного этим отчуждением антропоса приобретет и иной количественный размах. Ну, на что до сих пор замахивались небесстрастные изверги? На уничтожение миллионов... Ну, десятков миллионов не отчужденных от развития и демонизированных тем или иным способом *homo*.

А бесстрастные изверги будущего... которые и не изверги, вообще-то говоря, а «антропотехники» (ввожу термин по аналогии с «зоотехники»)... Эти антропотехники, оптимизирующие поголовье отчужденного от развития высокоорганизованного скота, вполне способны замахнуться и на уничтожение парочки миллиардов «ненужных антропоособей».

И эту свою способность замахнуться они не будут долго хранить втуне, мечтая о чем-то и перешептываясь. Они эту способность реализуют.

Реализуют-реализуют! Не верите? А вы и сами прикиньте, и... И проверьте все-таки состоятельность моих предыдущих прогнозов. Почему-то, знаете ли, так получается, что я с этими прогнозами, касающимися распада СССР, Югославии, войн на Ближнем Востоке, нового качества террористических вызовов и глобального кризиса, не промахиваюсь. Только сначала все фыркают одним способом («да что это он такое страшное нам сулит вопреки совершенно оптимистической очевидности!»), а потом, когда все происходит не оптимистически, а по-моему, фыркают другим образом («а что особенного? Всем было очевидно, что...») Всем... Как же, как же...

КОМУ было очевидно нарастающее экономическое неблагополучие? Двум десяткам экспертов из миллионов тех, кто отрекомендовывался в качестве таковых. Эти миллионы орала как резаные, что никогда никакого неблагополучия не будет. Что мир научился развиваться без кризисов. Самые матерые из миллионов высоколобых кретинов, обещавших вечную экономическую безоблачность (она же – глобализация), получили за свою наглую ложь все высочайшие международные премии, включая Нобелевские.

Так что, господа лжеоптимисты, антропотехники свое дело делают. Ждите! Ждать осталось недолго. При сохранении нынешних тенденций – лет десять. Максимум – пятнадцать. Нынешние тенденции стремительно переводят человека в разряд высокоорганизованного скота, чье поголовье подлежит очень радикальной оптимизации. Оптимизации никому не снившегося ранее масштаба... Какой там Гитлер! Фюрером Четвертого рейха будет не гиперэмоциональный злодей, а бесстрастный профи, по необходимости оптимизирующий поголовье, ставшее неэффективно избыточным в ходе перепроизводства антропоса. В XIX веке для того, чтобы справиться с кризисом перепроизводства, ликвидировали избыток продуктов. В XXI-м...

Требовательный и нетерпеливый читатель опять же спросит запальчиво: «А может быть, оптимизированному поголовью будет дано новое качество жизни? А может быть, без этой оптимизации всем хана: и природе, и человечеству?»

Коллега, вы не даёте мне доаргументировать до конца. Я же не обещал вам, что, изложив две позиции («во-первых» и «во-вторых»), этим исчерпаю аргументацию. У меня в запасе есть еще и «в-третьих», и «в-четвертых»... Впрочем, в одном вы правы, коллега. В том, что введение (даже и методологическое) не может превращаться в нечто самодостаточное. И потому все из того, что еще не обсуждено мною в плане перспектив отчужденного от развития человечества, я буду излагать уже совсем конспективно.

В-третьих, нетерпеливец вы мой требовательный, не лгите себе и другим по части того, что скота... прошу прощения, homo этих, становящихся все менее sapiens, окажется количественно меньше, а все остальное или не изменится вообще, или изменится к лучшему. Оставшийся в живых скот, поделенный на несколько классов (просто скот, скот немного улучшенный, почти не скот и так далее), будет жить в совершенно другом мире, не имеющем к сегодняшнему

никакого отношения. Плавный переход от нынешнего мира к миру совершенно другому невозможен? Ну, так он и не будет плавным.

Кстати, у этого нового мира, к которому антропотехники хотят перейти, уже есть готовое название — «многоэтажное человечество». Вам нравится быть особью, проживающей на одном из этажей этой самой «многоэтажки»? Не читайте тогда моего крамольного сочинения. И не тратьте порох на его критику. В том мире, где будет реализована многоэтажность, книги, подобные данной, будут не запрещены и даже не сожжены (ох, уж мне этот «добрый старый» гуманизм Брэдбери с его градусами по Фаренгейту). Эти книги будут стерты из памяти постчеловеческого разнокачественного скота так, как вы сейчас стираете со своего компьютерного диска лишние файлы.

Любители будущей многоэтажности, поклонники постчеловеческих и трансгуманистических перспектив, подумайте, надо ли и впрямь тратить силы на критику того, чем через десять—пятнадцать лет (если это самое «многоэтажное» состоится) займутся новые и очень эффективные инквизиторы?

Что же касается тех, кто не хочет безропотно дожидаться счастливого многоэтажного будущего для себя, своих детей и внуков... Что же касается этих немногих, этого — верю, что все еще активного, меньшинства, которому и адресована моя книга, то... Может быть, дочитав до этого места, представители подобного меньшинства и сами смекнут, почему меня не устраивает ни (уже описанный мною выше) первый способ обсуждения судьбы развития в России и мире, ни отношение к судьбе развития как теме для обсуждения (вытекающее из этого способа), ни движение по накатанной колее (заданной этим способом), ни, наконец, превращение очень важного для меня обсуждения в «беседы о развитии».

Ну, не хочу я, дожидаясь «многоэтажки», становиться нытиком, бесильно тоскующим по «доброму старому» гуманизму. Я хочу с этой «многоэтажкой» (она же — тотальная дегуманизация всего и вся), представьте себе, бороться. «Многоэтажка» на наших глазах превращается в мейнстрим XXI века. Для меня кривляния XXI века — это, так сказать, разминки юного Чикатило. Подлаживаться под норы этого Чикатило и задаваемый этим норовом мейнстрим я категорически не желаю. А ты, читатель? Ты не видишь, что именно волочет девятилетний Чикатило в — и без того усталый и гнилой — мир человеческий? Если вы видите — что остается вам, кроме фундаментального (антропологического, экзистенциального, метафизического) Сопrotивления?

Впрочем, как знаете. Что же касается меня, то я считаю долгом своим обосновать и тем самым в какой-то мере инициировать Сопротивление формирующемуся чудовищному мейнстриму.

Необходимость решать такую задачу — она и только она — удерживает меня от подчинения характера и ритма повествования «доброй старой» гуманистической безобязательности бесед.

Я не хочу, не имею права использовать первый способ обсуждения вопроса о судьбах развития в России и мире, превращающий разговор об этих самых судьбах в беседу.

Я не хочу, не имею права превращать бесконечно любимое мною гуманистическое начало — в ретро. Ведь, согласитесь, такое превращение было бы с моей стороны разновидностью капитуляции перед наползающей на нас «постдействительностью» (она же «многоэтажка» etc.). Я же считаю, что относиться к этой наползающей «постдействительности» мы можем и должны только так, как Кутузов, сказавший посланцам Наполеона: «Вы предлагаете нам закончить войну, а мы ее только начинаем». Нельзя вести войну с постдействительностью, превращая текст Сопротивления в ретро. Тот гуманизм, для которого беседа и есть философия, как альфа и омега всякой человеческой подлинности, проиграл. Нельзя противопоставлять наползающей на нас общемировой мерзости — проигравшее. Мерзости этой так хочется, чтобы ее антагонистом был очевидный исторический лузер. Осознаем ли мы, чем чревато наше согласие на осуществление того, что этой мерзости так желанно?

Противопоставить формирующемуся антигуманистическому мейнстриму гуманистическое ретро — значит признать, что будущего у гуманизма нет даже в эстетическом (стилевом, интонационном, жанровом) и уж тем более в гносеологическом плане. «О, признайте это! — поощрительно хихикают адепты антигуманистического мейнстрима. — Признайте и капитулируйте уже на этапе замысла!» НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!

Вот почему, читатель, я отмечаю с порога первый, так сказать, «старогуманистический» способ обсуждения всего, в том числе судьбы развития в России и мире.

Второй же способ обсуждения (а этих способов, подчеркну еще раз, всего лишь два) основан на том, что обсуждаемое (судьба ли развития или нечто другое) безжалостно превращается из темы в предмет исследования. Превращение это осуществляется за счет предьявления метода. В той же степени, в какой беседы о разви-

тии не нужно предварять методологическим введением, исследование судеб развития без подобного предварения, причем развернутого, категорически невозможно. Методология... Она и только она преобразует, повторяю, безобязательную, а потому и рыхло-безопасную тему – в предмет. Потому-то методологическое начало так ненавидимо всей субкультурой «пост», всеми адептами «многоэтажки» и «постдействительности».

Враг, читатель, ненавидит всегда лишь несломленное. «Они ненавидят меня? Значит – боятся». Заявляя о том, что я судьбу развития в России и мире намерен не «отемливать», а исследовать, я обязан начать исследование с манифестации – и именно манифестации – метода. Этим и занимаюсь...

До сих пор, правда, я лишь объяснялся с читателем по поводу того, чем живой вопрос отличается от мертвого. А также по поводу того, почему методология и все, что она порождает (превращение темы в предмет, беседы в исследование), настолько необходимы. Что ж, объяснился... Теперь пора перейти от обсуждения необходимости метода к его описанию.

Судьба развития в России и мире – это политический вопрос. По крайней мере, я собираюсь обсуждать эту самую судьбу именно в таком качестве. Как я уже говорил в двух своих предыдущих книгах («Качели» и «Слабость силы»), исследование нетранспарентных или не полностью транспарентных политических вопросов (а полностью транспарентные политические вопросы у нас на глазах приобретают чудовищно фальшивый характер) может быть либо оперативным, либо конспирологическим, либо... Либо логоаналитическим.

Оперативное исследование базируется на материале, добытом с помощью прямых проникновений в сферу нетранспарентного. Я поясню. Как только вы делаете заявку на исследование (и именно исследование) судьбы чего бы то ни было (развития в том числе), вы признаете наличие у этого, вами исследуемого процесса – судьбы. Говорите ли вы о судьбе России, судьбе мира, судьбе развития или же о судьбе каких-то иных объектов, явлений или тенденций (судьбе Европы, судьбе США, судьбе капитализма и так далее), вы, взявшись исследовать не абы что, а судьбу, превращаете свое исследование в исследование по преимуществу политическое.

Даже если вы древний грек, свято верующий в мойр и ткущиеся этими мойрами нити судьбы... Вы ведь, как древний грек, не только в мойр веруете, но и в Прометея, не чуждого этим мойрам?

А что он, Прометей этот, в итоге сотворил за вычетом разного рода «мелких» деяний, посвященных развитию какого-то там человечества? Он Зевса предупредил об опасности! Не сразу, но предупредил. Узнав у мойр, что этого самого Зевса ждет (диалог с мойрами и есть исследование судьбы), Прометей объяснил владыке Олимпа, как избежать неблагоприятной для его правления судьбы. Избегание судьбы... Согласитесь, что это (как, кстати, и почти все, чем занимались в античной Греции) является по сути своей политикой и только политикой...

Итак, даже если вы древний грек (не принадлежащий к совсем уж специфическому фаталистическому сообществу), то вы веруете и в мойр, и в Прометея. То есть в разруливание всех и всяческих судеб, включая судьбу высочайшего божества. Что такое тогда для вас исследование судьбы? Это постижение тайн кем-то (теми же мойрами, например, или кем-то еще) запускаемых процессов плюс возможность исправить ход процессов за счет познания их структуры, характера и генезиса.

Но вы же не древний грек, а человек XXI века, будь он неладен. Вы худо-бедно понимаете, что судьба – это столкновение сил, то есть политика.

А у этих сталкивающихся сил есть источники (они же субъекты). Это могут быть разного рода сообщества. По Марксу – классы. По Питириму Сорокину – элиты. По Гэлбрейту – техноструктуры... И так далее. Короче, эти субъекты суть мойры XXI века. Субъекты имеют как суррогатные цели, вытекающие из их интересов (в этом случае субъекты часто называют «группами по интересам»), так и цели подлинные, вытекающие из наличия идеалов (религиозных, парарелигиозных, светских).

Идет ли речь о соотношении развития (российского, общемирового или иного) с определенными масштабными интересами, со столь же масштабными идеализациями (крайний случай – идеологиями) или же сразу и с тем, и с другим – у разных субъектов (а их в современном мире отнюдь не мало) есть свои виды, так сказать, на развитие. Быть ему или не быть... Каким ему быть... От этого, как минимум, зависят многие триллионы долларов. А на самом деле, нечто несравнимо большее – власть и смысл. Соответственно, субъекты борются за то, чтобы их замыслы касательно развития (или чего угодно еще) были реализованы, а планы их конкурентов – нет.

Что значит эту (политическую по определению) борьбу исследовать? Это значит обнаруживать нетранспарентное. В самом деле, тот, чья цель остановить развитие, никогда не отрекомендуется противником развития как такового. Создаваемые им (или ими, если противников развития несколько) структуры, являющиеся средствами обеспечения неразвития, должны это неразвитие расхваливать. Но такое расхваливание («война с прогрессом» это в просторечии называется) является функцией инструментов, используемых субъектами, а не субъектов как таковых. Субъекты же неразвития (крайний вариант – контрразвития) будут или молчать, или вяло и неумно обсуждать правильное (например, устойчивое) развитие и осуждать развитие неправильное.

Что такое, с этой точки зрения, оперативное исследование судеб развития? То есть – как мы уже установили выше – оперативное исследование политических стратегий развития и неразвития и задействующих эти стратегии субъектов? Исследуя напрямую, без опосредования чем бы то ни было (то есть оперативно) судьбу развития, автор оперативного исследования рассуждает так: «Если есть судьба, то есть осуществляющие (в борьбе друг с другом или по единому плану) эту самую судьбу социальные сущности. Я доберусь до мест, где они судьбоносничают. Я приставлю своих наблюдателей к каждому из судьбоносников. И с достоверностью, равной 100%, узнаю, что именно они замысливают».

Если автору оперативного исследования удастся осуществить свой план, и в его распоряжении окажутся достаточно полные данные о судьбоносниках и судьбоносности...

Если этот автор опубликует свои данные, причем доказав, что речь идет о настоящих данных, а не о фальшивках...

Если он предоставит читателю калибровку своих данных, убедив его в том, что фигурирующие в этих данных лица и структуры и впрямь являются вершителями судеб, а не самозванцами и баронами мюнхгаузенами...

Если автору удастся объяснить, как действие вершителей исследуемых им судеб развития соотносится с никому не подконтрольными объективными процессами...

Если все это будет реализовано автором, то... То останется два недоумения, которые все равно будут довлеть над оперативным исследованием, опубликованным в открытой печати.

Первое недоумение будет касаться того, как же это вершители

мировых судеб не помешали не входящему в их круг автору раскрыть их, вершителей, тщательно скрываемые замыслы.

Второе недоумение будет касаться странного поведения автора. При том, что все описанные мною условия, которые автор должен выполнить, да и само авторское намерение оперативно прощупать всех судьбоносцев, явно адресует к очень и очень коллективному авторству. Зачем такому автору открывать свои спецфайлы вместо того, чтобы пользоваться ими в соответствии с их спецификой? Ведь, осуществив такое открытие, автор нарушает правила игры, ставит под удар тех, кто предоставлял ему информацию, и так далее. Поскольку автор, сумевший осуществить столь амбициозное оперативное начинание, не может быть не только одиночкой, но и романтиком, то никто не сможет освободить опубликованное оперативное исследование от подозрения в том, что его коллективный автор соучаствует в той или иной игре разоблачаемых им вершителей судеб. Например, организует супермистификацию по поручению этих самых вершителей. Или обеспечивает своими публикациями войну одних вершителей с другими.

Но обеспечение такой супермистификации или войны по определению не имеет ничего общего с исследованием. Мистификатор уж никак не имеет права быть объективным. А воюющий... Тут ведь тоже действует принцип «на войне как на войне», с объективностью не имеющий ничего общего.

Впрочем, у меня лично нет никаких сомнений в том, что еще до той поры, когда начнут возникать вышеназванные подозрения фундаментального характера, произойдет тот или иной сбой в алгоритме оперативного исследования. Данные автора окажутся неполными... Достоверность данных окажется крайне проблематичной... Весомость лиц и структур, данные о планах которых будут предъявлены автором, окажется совсем иной, нежели та, которую автор этим лицам и структурам присвоит... Увлеченность действиями судьбоносцев вытеснит из сознания автора все, что связано с объективным (собственно историческим) началом и его влиянием на те же судьбы развития. А также на какие бы то ни было другие судьбы, буде их захотят исследовать оперативным путем.

Высказанные мною соображения никоим образом не могут и не должны дискредитировать оперативный метод исследования вообще и оперативный метод исследования судеб развития в России и

мире в частности. Просто всему свое место. Разведанным — спецпапкам, спецфайлам, спецартефактам и пр. — место в сейфах соответствующих ведомств. Или в сейфах частных архивов.

Данное утверждение не имеет ничего общего с отрицанием косвенного использования оперативных фактур. Каждый, кто занимается исследованием каких-либо судеб, отдавая должное (должное, но не более того) влиянию на эти судьбы разного рода интересантов, пользуется оперативными сведениями. Но — как по соображениям, изложенным мною выше, так и в силу других причин — очень дозированно, осторожно и опосредованно. Никто не будет строить открытое, предназначенное для публикации исследование, опираясь на оперативные данные не абы как, а именно как на фактологию. Но и без фактологии — и это, я надеюсь, понятно — исследование в принципе невозможно.

Поэтому отдадим должное тем, кто добывает, упорядочивает, проверяет и хранит оперативные данные. И на этом подведем черту под (как мы убедились, крайне проблематичной) попыткой написания того, что можно назвать «спецкнигой». То есть книгой, предназначенной широкой публике и одновременно обсуждающей вопрос о судьбе развития в России и мире с опорой исключительно на оперативные данные.

Второй метод исследования все тех же судеб развития, казалось бы, крайне близкий к оперативному, на самом деле невероятно далек и от своего кажущегося соседа, и от подлинной исследовательской работы как таковой. Я имею в виду пресловутую конспирологию, или теорию заговора.

Создатели конспирологических сочинений, необоснованно претендующих на статус исследования, чураются того, без чего исследование в принципе невозможно. А именно — внятной фактологизации как начального и обязательного этапа исследования. Применительно к рассматриваемому мною предмету одни конспирологи будут разоблачать «заговор развития», другие — «заговор неразвития», третьи — войну двух групп заговорщиков. Но никто из этих конспирологов не удосужится привести факты, на основе которых говорится о наличии заговора (заговоров). Никто никогда не станет заниматься калибровкой (определением реальной влиятельности) центров сил, чья война якобы определяет судьбу развития. И, уж тем более, никто из этих псевдоисследователей не будет обсуждать ту историческую объективность, без кото-

рой любое моделирование игр, осуществляемых субъектами того или иного ранга, гроша ломаного не стоит.

Если конспирологический метод и можно (с оговорками и натяжками) назвать методом, то только потому, что люди, все более отчетливо понимающие степень волюнтаристичности политики XXI века, а также степень нетранспарентности этой политики, начинают признавать заговоры единственной политической достоверностью современности. Ну, что достовернее 11 сентября 2001 года? И кто может сказать, что удар по башням в этот день не был заговором? Другое дело, чьим заговором, но ведь заговором.

Если с заговором как достоверностью XXI века не будут работать всерьез — оперативно или иначе, — то востребуются и суррогатные обсуждения заговоров. Тем более, что для сил, участвующих в реальной большой игре, конспирология не только безопасна, но и полезна. И потому, что она позволяет сколь угодно долго вести по ложному следу пытливые, но неразборчивые умы, уводя все еще активное меньшинство от реальной борьбы против реального отчуждения... И потому, что ее, конспирологию эту, в любой момент можно вывести на чистую воду. Причем так, что гомерический хохот надолго отобьет у тех, кто всерьез хочет заниматься нетранспарентностью, охоту что-либо обсуждать открыто в части этой самой нетранспарентности. Такие этюды с высмеиванием разного рода фиктивных конспирологических построений очень успешно выполнялись в XIX веке, но и не только.

В 1992 году все активное меньшинство, взбудораженное распадом СССР как явно нетранспарентным процессом, обсуждало публикуемую в патриотической газете конспирологию. В этой конспирологии трагический и беспрецедентный по своим глобальным последствиям распад СССР и коммунистической системы в целом, распад, воистину загадочнейший и совершенно, повторяю, нетранспарентный, был интерпретирован как война тайных Орденов, длящаяся столетиями и даже тысячелетиями. Орденов было названо два. Как полагается, светлый и темный. Были названы также советские силовые структуры, ядром одной из которых был светлый Орден, а ядром другой — Орден темный. И, наконец, были названы гроссмейстеры темного и светлого Орденов. По случайности, я хорошо знал обоих. Знал также — вовсе не понаслышке, — в какой шок привело этих людей (вполне приличных и умных, но беспредельно далеких от любой со-

причастности орденскому началу) их причисление к тайному руководству миром и его судьбами.

Знал я и о реакции двух силовых структур на это причисление их системообразующих элит к конкурирующим парарелигиозным орденским центрам. Время было нелегкое. Силовиков поносили почем зря — причем и тех, и других. Описание, которое я рассматриваю, оказалось популярным, ибо в процессе, повторяю, и впрямь было нечто загадочное. И потому любое его разъяснение через раскрытие загадок оказывалось востребованным. Одни силовики пожимали плечами, другие начинали подозревать в чем-то свое начальство (тем более, что оно давало к этому основания), третьи — легитимировать межведомственную склоку своей причастностью к светлому орденскому началу. У всех, включая военные вузы, которые должны готовить высший командный состав, на это конспирологическое варево обильно выделилась слюна... Немалая и без того дезориентация существенно увеличилась...

Прошли годы. Автор той конспирологической модели сначала обнаружил в темном Ордене светлую часть. Потом в светлом Ордене — темную часть. Лица, названные гроссмейстерами Орденов, поволновались и успокоились. Структуры, выйдя из состояния абсолютной униженности, занялись разного рода прагматическими делами в новорусском стиле. Автор конспирологической модели, напечатав серию статей и издав книгу (кое для кого и до сих пор чуть ли не культовую), стал в дальнейшем и вносить поправки в модель, и дистанцироваться от оной. Одновременно автор стал респектабилизироваться и, как мне почему-то кажется, в своем нынешнем состоянии к той своей конспирологии (а уж тем более, к названным им наобум «гроссмейстерским» именам) относится, мягко говоря, более чем иронически.

Но ведь загадка распада СССР осталась! И сколько политической энергии, необходимой донельзя, оказалось растрчено попусту! Неразборчивые (в этом их минус) и безразличные (в этом их плюс) молодые люди того времени, глубоко переживавшие распад СССР и стремившиеся выработать какую-то идеологию Сопротивления (сопротивления — чему?!), сначала ломанулись по ложному следу, потом, устав, потеряли интерес к разгадыванию наиважнейшей загадки XX века — загадки распада красной супердержавы. Вот вам и конспирологический псевдометод. Кстати, на

языке реальных закрытых социальных структур (а их, как все понимают, отнюдь не мало) подобное задание ложной конспирологической псевдоисследовательской траектории называется «закрытием с помощью лжеоткрытия».

Разобравшись следом за оперативным методом и с методом конспирологическим (который является псевдометодом), я, наконец, могу перейти к тому, чему должен был бы посвятить большую часть своего методологического введения. То есть к методу, с помощью которого в данном сочинении будет исследоваться судьба развития в России и мире.

Я называю этот метод логоаналитикой. Признаюсь, введение новых слов для названия новых методов мне малосимпатично. И я с радостью назвал бы этот метод герменевтикой высказываний или даже просто политической филологией. Но, во-первых, уже есть великий психолог XX века Франкл, который назвал свою психотерапию логотерапией (терапией, основанной на содействии поиску потерянного пациентом смысла). Во-вторых, филолог занимается определенными (написанными или, в случае фольклора, записанными) высказываниями, чаще всего имеющими хоть какое-то отношение к художественному творчеству. Я же собираюсь опираться как на факты на любые зарегистрированные открытые высказывания – телевизионные и радиовыступления, речи, интервью, случайные реплики и так далее.

Микрофактом, на который я, как исследователь, опираюсь (а исследование – повторяю в который раз – **В ПРИНЦИПЕ** невозможно без опоры на фактологию), является любое авторизованное публичное слово. Сказано ведь, что «слово не воробей, вылетит – не поймаешь». Если я могу доказать, что такое-то слово произнесено таким-то лицом там-то и там-то по такому-то поводу, то это слово (хоть целая книга, хоть случайная реплика, хоть подтекст, хоть интонация... а хоть бы и просто невербальная, но убедительная жестикуляция, сопровождающая высказывание) является для меня микрофактом. Постольку, конечно, поскольку «это» имеет отношение к исследуемому мною предмету. Соответственно, в данном сочинении фактами, то есть опорой предметности, являются те или иные публичные слова о развитии.

Совокупность этих слов – логосов – для меня является фактологическим первичным материалом. Подчеркну еще раз, что я не считаю нужным пренебрегать и невербальной публичностью. Что

для меня важны субвербальные компоненты (интонация, жестикация, сопровождающие высказывание, и так далее). Лишь бы все это было публично. Лишь бы было зарегистрировано – что, где, когда, кем, почему и так далее. Такой фактологический первичный материал, состоящий из структурированной совокупности микрологических, я называю фактологическим первичным массивом неопровержимых данных. К этой совокупности (конечно, уже структурированной с помощью известных приемов, не заслуживающих отдельного описания во введении и уже обсужденных мною в других книгах) я отношусь как к Тексту (паратексту, диффузному тексту и так далее). Этот Текст анализируется мною с помощью набора аналитических инструментов, которые я уже неоднократно описывал в своих книгах.

Поскольку используются аналитические (и именно аналитические) инструменты, то метод мой есть аналитика *par excellence*. В конце концов, существует и аналитика Бытия, не правда ли?

Поскольку инструменты используются для понимания фактологического массива (Текста), состоящего из высказываний, то есть логосов, то речь идет о логоаналитике.

В конце концов, дело не в названии метода, а в его сути. Я анализирую систему высказываний, как физик – систему экспериментальных данных. Для меня каждое высказывание о развитии – это определенным образом калибруемый факт. Совокупность фактов-высказываний – это фактология предмета. Изучение этой фактологии с помощью разных аналитических инструментов представляет собой исследовательскую процедуру, надстраиваемую над определенным образом понимаемой фактологической базой.

Были ли мои знакомые гротескными борющимися Орденов – поди докажи. Меньше всего об этом знает тот конспиролог, который присваивает им данный, более чем сомнительный, элитный ролевой статус.

А вот кто, что, где и когда сказал о развитии, доказать не стоит никакого труда.

Соответственно, суждения о сомнительном орденском статусе моих знакомых не могут быть фактологической базой исследования. А раз нет фактологической базы, то нет исследования.

А массив, состоящий из авторизованных датированных высказываний о развитии, является надежнейшей фактологической базой, не так ли?

В этом отличие логоаналитики от конспирологии.
В чем отличие логоаналитики от оперативного метода, объяснить, надеюсь, не надо.

Все тот же нетерпеливо-требовательный читатель, с которым я все время веду мысленный диалог, может мне возразить: «Да, ваша база данных является фактологией. Но это более чем скудная фактология. Что из нее при такой ее скудности можно выжать?» Отвечаю.

Во-первых, все зависит от качества аналитических инструментов и профессионализма тех, кто их использует.

Во-вторых, отсутствие опоры на оперативную фактологию не означает, повторяю в который раз, отсутствие дозированного использования этой самой оперативной фактологии. Использования сугубо опосредованного, точечного. Чаще всего проверочного (нет ли расхождения построений с имеющимися неафишируемыми данными). Но иногда и герменевтического.

В-третьих, о скудности или нескудности результатов можно судить лишь по прочтении исследования, в котором некие результаты получаются с использованием логоаналитики. Ее и только ее.

В-четвертых, рассматривая систему высказываний как Текст, логоаналитик относится к Реальности, так или иначе соотносящейся с этим Текстом, как к контексту. Поэтому обвинения логоаналитики в абсолютизировании зачастую не лучших по своему качеству логосов – ложны. Логоаналитик – это вовсе не «текстоман».

Еще одно вопрошание требовательно-нетерпеливого читателя, на которое я должен ответить уже во введении, связано с ретро, как бы вытекающим из – мною всячески подчеркиваемой – филологичности метода. Классическая филология, как и классический жанр беседы, – это и впрямь стопроцентное старогуманистическое ретро. Но где же это я сказал, любезный сердцу моему нетерпеливый читатель, о КЛАССИЧЕСКОМ характере предлагаемой мною логоаналитической политической филологии?

Является ли сказанное политиком слово воробьем, вылетевшим из его рта, не знаю. Но то, что это слово (оно же – политический микрологос), вылетев, начинает жить совершенно отдельной жизнью, обретает плоть, действует, наплевав на волю того, кто этому слову дал вылететь, влияет на очень и очень многое способом, абсолютно не предполагавшимся тем, кто слово произнес, а повлиять на это очень и очень многое, начинает влиять и на самого автора... Это я знаю точно. Может ли являться КЛАССИЧЕСКО-ФИ-

ЛОЛОГИЧЕСКОЙ логоаналитическая методология, в которой есть место для таких неклассических процедур, как словесная ворожба, магия слов, заклятие словом?

Так что же, я хочу использовать иррациональную методологию?

Во-первых, кто сказал, что, исследуя судьбу чего бы то ни было, а уж тем более судьбу развития в России и мире, надо быть абсолютным ревнителем строжайшей рациональности? К примеру, монахи, занимавшиеся экзорцизмом, то бишь изгнанием бесов, были чистейшей воды исследователями. У них был и предмет, и метод, и инструментальность (в каком-то смысле даже технологичность). Но можно ли и нужно ли при их предметно-методологической направленности требовать абсолютной и строжайшей рациональности применяемого ими метода?

Во-вторых, что такое рациональность в XXI столетии? Когда Джордж Сорос написал книгу «Алхимия финансов» — что он, по большому счету, имел в виду? Что слова о деньгах становятся важнее самих денег. Рационален ли мир, в котором слово о чем-то (например, о деньгах) становится важнее того, с чем соотносится слово? Для рационального мира слово отражает, а не взрывает реальность. Так где он, этот мир? Нет его! Мировой финансовый кризис, предсказанный Соросом с позиций его алхимии и вытекающего из нее примата слов над реальностью... Разве он не говорит о том, что магия слов, ворожба слов, заклятие словом — это абсолютно конкретные (и абсолютно несовместимые с классической филологичностью, в рамках которой, повторяю, слова отражают, выражают, но не взрывают почти одновременно реальность) реалии XXI века? Каков век, таков и метод, исследующий его, не так ли? Адепты «постдействительности», проектанты «многоэтажности», вы ждете от нас капитуляции и в вопросе о методе? Ждете, что мы будем применять классический метод к неклассическому объекту? НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!

Сказавший о ворожбе слов, о заклятии словом, о магии слова получает — о, ужас! — ярлык иррационалиста и врага рациональной научности? А тот, кто говорит... ну, хотя бы просто об общественном сознании... он кто? Где сознание, там и подсознание, сверхсознание. Ах, есть, оказывается, не общественное сознание, а общественное мнение. Во-первых, это не так. А во-вторых, пусть даже это так, и что? С позиций того, что мы сейчас обсуждаем, никакой разницы между общественным сознанием и обществен-

ным мнением нет. Я не говорю, что разницы вообще нет. Я всего лишь говорю, что разницы этой нет с позиций того, что мы сейчас обсуждаем.

В конце XX века стало ясно, что общественное (оно же народное) мнение, а также общественное сознание (а значит, повторяю, и под- и сверхсознание) управляемы, моделируемы в весьма существенной степени. Вместе с методами этого управления и даже моделирования (они же — гуманитарные технологии) в мир вернулось все избыточное и иррациональное — магия, ворожба, колдовство, заклятья. Возникает наикомичнейшая ситуация (что называется, «было бы смешно, когда бы не было так грустно»), в рамках которой сказать, что общество можно заморозить, заколдовать, заклясть и очаровать, — это значит расписаться в приверженности маргинальному антинаучному оккультизму. А сказать, что общественное сознание (или мнение) программируемо так-то и так-то, объяснить, чем нейролингвистические программы отличаются от нейросемантических или нейросемиотических, — это значит находиться на переднем крае современной научной рациональности. Но речь-то идет об одном и том же!

Чем нейролингвистическое или нейросемантическое программирование отличается от магии, заклятий, ворожбы? Технологичностью? Так магия во все времена была технологична! А если вдобавок поднапрячься и доказать, что все нейросемиотические, нейросемантические методы под кальку списаны с разного рода заклятий (буддистских мантр, заклятий вуду и так далее), то, согласитесь, станет очень смешно. И очень грустно одновременно.

Сколько ни ходи вокруг да около, придется рано или поздно признать, что так называемое психо-нейро-социопрограммирование, как, впрочем, и все гуманитарные технологии вообще, вернули в мир магию, колдовство, ворожбу словом. Все то, что, может быть, мир никогда и не покидало по-настоящему, но теперь укоренилось в нем на новых основаниях. И не надо наивничать, дражайший мой нетерпеливый читатель, убеждая себя и других в том, что программинг, восстановив в своих правах ПРИНЦИПЫ магии и колдовства, не восстановит в своих правах рано или поздно и РИТУАЛЫ. Возможно, усовершенствовав их до крайности, но в любом случае восстановив во всей своей полноте то отношение к человеку, которое было отменено в связи с признанием онога венцом Творения.

Восстановление этого антигуманистического отношения к человеку уже идет. Всматриваясь в новые культы, включая культ потребления, мы понимаем, что новое — это хорошо забытое старое. Гуманитарные технологи, манипулирующие сознанием и подсознанием расчеловечиваемых ими антропоскопов, расшаркиваются перед магами. А те, чуть что, обращаются за самолегитимацией к технологам. Вопрос на засыпку: может ли все это так раскручиваться по принципу «технология — магия — технология-штрих — магия-штрих» (смотри у Маркса: «товар — деньги — товар-штрих»), не трансформируя при этом всей структуры общества, всей системы социально-политических и культурных отношений?

Советская перестройка конца 80-х годов XX века — случайно ли вывела на большую политическую арену магов, парапсихологов, экстрасенсов? Не эти ли, выведенные из частных квартир и специнституты к стомиллионным телеаудиториям, кашпировские поволочки за собой в большую политику разного рода технологов, нейролингвистов, нейросемантиков и так далее? Техногуманизация идет рука об руку с дегуманизацией через архаизацию. Неужели остались сегодня слепцы, не ведающие того, как именно одно связано с другим? Неужели остались еще в нашем (да и всемирном) антропозаповеднике (краю непуганых идиотов) особи, не понимающие, чем завтра или послезавтра обернется это самое «рука об руку»?

В общественно-политических дискуссиях очень часто приходится сталкиваться с ситуацией двойных стандартов. Например, когда обрушивающийся на тебя, как противника, шквал нецензурщины всячески поощряется и именуется — если дискуссия носит интеллектуальный характер — «использованием современного постмодернистского языка». А если дискуссия носит характер более упрощенный, то «гласом народа» или «здоровой реакцией критически настроенной части общества». Если же в ответ ты используешь адекватные средства коммуникации, то это именуется «возмутительным нарушением форм коммуникаций, принятых в цивилизованном сообществе». Мы имеем дело с разнообразными способами ведения военных действий, которые нападающая сторона применяет, забывая на момент применения о нормах объективной дискуссии. Но когда против этой стороны применяются военные же методы полемики, то она возмущенно указывает на нарушение применяющими норм объективной дискуссии. Да и объективности вообще.

Впервые я изумился по данному поводу лет двадцать назад, когда еще верил в объективность этой самой нападающей стороны, почему-то называвшей себя «прогрессивно мыслящей интеллигенцией». Речь тогда шла о «войне на уничтожение», объявленной одному крупному функционеру ЦК КПСС, отнюдь не принадлежавшему к реакционному крылу данной партии. Война на уничтожение предполагала не только расправу с взглядами данного лица, но и крайне уничижительное, мягко говоря, обсуждение его внешности. Лицо при этом обладало вполне пристойной внешностью, конечно же, весьма далекой от идеалов греческой античности или «норм мачо», задаваемых голливудскими боевиками. Но почему в политической дискуссии надо было называть данное лицо не иначе как «боровом», а то и более жестко, я понять не мог. И наивно указал на то, что оппонент данного лица из антикоммунистического лагеря, прославляемый той же самой «прогрессивно мыслящей интеллигенцией», обладает внешностью, гораздо более уязвимой, нежели его оппонент из лагеря КПСС.

«Мне непонятно, почему вообще надо апеллировать к внешности, — сказал я. — Но если уж использовать непристойные оценки типа «боров», то антикоммунистический оппонент, согласитесь, под них еще больше подходит». На это мне было отвечено, что партийный функционер — это натуральный боров, отвратительный донельзя. «А его оппонент?» — спросил я. Прогрессивный интеллигент подумал секунды три и ответил: «Это милейший, очаровательнейший пингвинчик».

Почему-то именно с этого момента мне все стало окончательно ясно. И в плане общественно-политической полемики, и в плане гораздо более важных (и опасных для противников) видов интеллектуальной деятельности, к которой, например, относится написание книг, подобных данной. И я не удивляюсь тому, что программинг, призванный разрушать (диссоциировать, декомпозировать, деструктурировать и так далее) Идеальное, — это высоконучный метод использования технологий, связанных со словом и образом. Я не удивляюсь также тому, что технологии, задействованные в рамках этого варварски дегуманизирующего программинга, именуются ГУМАНИТАРНЫМИ (как и «гуманитарные акции»).

Я понимаю, что в этом есть глубочайшая издевка, и отдаю дань сарказму тех, кто так издевается, а также их способности спрятать свой сарказм от все еще крайне наивной российской и мировой

публики, которую нужным образом «упаковывают» с далеко идущими и очень дискомфортными для данной публики целями.

Я понимаю также, что применение обратных технологий, призванных восстанавливать разрушенный гештальт, технологий, связанных с рефлексией на диссоциативный программинг, и уж тем более со встречной (по отношению к применяемой десимволизации) ультрасимволизацией, будут называть ненаучным, архаическим и так далее.

Я просто призываю (а) осознать асимметрию используемых критериев, (б) понять, что эти критерии использует не сторонник объективной дискуссии, а воюющий против нас противник, и (в) даже осознав это, не зарываться, сдерживаться, не уподобляться противнику. Да, не уподобляться — но и не использовать средства борьбы, отдающие ретро и потому крайне удобные для противника. А главное — я призываю к тому, чтобы расстаться, как минимум, на ближайшие 20–25 лет с фундаментальной иллюзией, согласно которой возможно интеллектуальное «мирное сосуществование» гуманистов и антигуманистов, то есть сторонников абсолютно разных и именно антагонистических проектов мироустройства.

Нет уж, на войне как на войне. В интеллектуальном плане, кстати, эта война давно является не «холодной», а «горячей». Я бы даже сказал «перегретой». Остудить эту войну, конечно, хотелось бы. Но не за счет односторонней сдачи позиций теми, кто еще сохраняет веру в пусть и трансформированный существенным образом, но именно гуманистический идеал.

Логоаналитика XXI века, стремясь противостоять дегуманизирующей все на свете реальности, не может быть классической старогуманистической филологией. Она должна быть вооружена адекватным своему времени пониманием роли политического слова и степени его воздействия на реальность. Для логоаналитика слово, ставшее плотью, не метафора. И не патент на нечто гуманистическое. Это та реальность, которую враги гуманизма уже взяли на вооружение. Уподобляться врагам, повторяю, нельзя — аморально и контрпродуктивно. Но игнорировать то, чем реальность уже начинена до предела... Это значит — повторяю в который раз и буду повторять постоянно в связи с особой важностью данного положения, — ЭТО ЗНАЧИТ РЕТРОКАПИТУЛИРОВАТЬ.

Ну, а теперь я на конкретном примере (без которых все всегда остается несколько смутным) попытаюсь пояснить, что значит —

в рамках используемого мной логоаналитического подхода – автономизация слова и высказывания от субъекта, исторгнувшего из себя подобные микрологосы.

Пример, поскольку речь идет о политическом слове, должен быть общеизвестным и на тысячу процентов политическим. Для меня – и, думаю, не только меня – ярчайшим из таких примеров является одно особо показательное камлание, осуществленное Ельциным, в принципе далеко не чуждым всему, что связано с политически регрессивной магией слова.

В 1999 году президент США Билл Клинтон принял отвратительное и абсолютно внеправовое решение о бомбардировках Югославии. Тогда же президент России Борис Ельцин прорычал, что Клинтон, принимая данное специфическое решение, забыл, каков ядерный потенциал России и чем чревато для США и мира задействование этого потенциала в ответ на поступки, подобные тем, которые совершил под влиянием приступа амнезии плейбой, мальчишка, президент каких-то там, понимаешь ли, США.

Сказано это было Ельциным во время визита в КНР. Рассмотрим данное высказывание в отрыве от всего – лица, его произнесшего, ситуации и так далее. Какова тогда содержательность высказывания? Ну, например, с позиций той же теории информации. С этих позиций содержательность (информативность) высказывания строго равна нулю или же констатации того, что Волга впадает в Каспийское море.

А какова содержательность данного высказывания с позиций логоаналитики? Она отнюдь не равна нулю. Почему? Начну с рассмотрения тона (интонации) ельцинского высказывания. Тон этот был более чем впечатляющий. Особенно с учетом того, что ранее (еще один элемент логоаналитического подхода – это самое «ранее») Ельцин называл Клинтона не иначе, как «друг Билл». Может быть, Ельцин и в рамках этого «ранее» Клинтона ненавидел и презирал. Но называл он его именно так.

Почему же произошел такой семантический и интонационный скачок? Был ли Ельцин одновременно возмущен выходкой этого самого «друга Билла»? Накопилось ли в его донельзя сложной душе нечто за годы унижительных реверансов в адрес всеблагого и всевеликого «дяди Сэма» (чего стоит его знаменитое высказывание о том, что, пролетев мимо американской статуи Свободы во время первого визита в США, он стал свободным человеком)? Одномо-

ментный импульс? Импульс, порожденный накоплением чего-то? Не знаю.

Но знаю точно, что вырвавшееся тогда из уст российского президента суждение по поводу запаматованного американского хулигана представляло собой нечто, способное к отдельной от говорящего долгой и полноценной политической жизни. Эта способность определенных политических слов жить полноценной жизнью, становиться отдельными от произнесших эти слова политиков «сущностями» — одна из важнейших аксиом моего логоаналитического метода.

Визуализация — это вполне корректный аналитический прием, чья роль возрастает в условиях массированного применения визуализаций компьютерных, да и много чего еще. Как говорил когда-то Станиславский, «научить этому нельзя, научиться — можно». Слушая тогда Ельцина, я почему-то применил этот прием визуализации и буквально увидел на экране своего внутреннего зрения, как это нечто — обычно именуемое «криком души», а в данном случае вполне тянущее на статус камлания или нида (древнеисландский вариант заклятия) — отделилось от своего политического шамана и стало флюидной плотью, субъектом трансформации чего-то...

Чего? Тонкого информационного поля? Неявных, но чрезвычайно важных слагаемых того самого общественного сознания (или мнения), которое при всей его респектабельности ничуть не менее таинственно, чем всякие там, лишенные научной респектабельности, «поля» — как информационные, так и другие? В связи с неочевидностью тезиса о невозможности существования общественного сознания в отрыве от общественного под- и сверхсознания, я этот тезис тоже вынужден настойчиво повторять. И столь же настойчиво спрашивать: почему некорректно считать данное камлание Ельцина адресацией к определенным архетипам, но не личного, а именно общественного подсознания? Потому что общественное подсознание менее изучено, чем индивидуальное подсознательное вообще и жизнь в этом индивидуальном подсознании так называемого коллективного бессознательного? А я, например, убежден, что общественное подсознание не требует интериоризации и существует как реальность.

Куда уходит сказанное политиками? Как оно, сказанное, от политиков отчуждается? Вот в чем предмет интереса логоанализа. Где это отчужденное поселяется? Если отчужденное продолжает

жить, то оно живет где-то... Где? Совершенно понятно, где — в некоем мире, который проще всего назвать просто миром отчужденных политических слов. Поселившись в этом мире, как новое отчужденное слово (в данном случае — ельцинское) соседствует с другими словами? Если совокупность подобных слов — это логоценоз (по аналогии с биоценозом), то новое отчужденное слово может либо атаковать сложившийся логоценоз, либо быть поглощенным этим логоценозом, став его элементом, пусть даже новым, но не меняющим качества целого. Если данное слово атаковало и трансформировало логоценоз, то как именно?

Но ведь логоценоз, странный мир отчужденных от авторов политических слов, не существует сам по себе. Являясь фактором общественного сознания, он на это сознание влияет, превращаясь в трансцендентное, но существенное дополнение к оному. А сознание влияет на реальность. Ну, так как же преобразованный своим новым обитателем странный мир особых, отчужденных политических слов повлиял на реальность?

Уже тогда, в далеком от нас 1999 году, я увидел, как, крича, рожала нечто — отдельное от самое себя и несомненно сущностное — больная ельцинская душа, способная на очень и очень многое. Сколько же разных, в том числе и взаимоисключающих, оборотов было в том рычании Ельцина о на минуточку забывшемся американском жалком мальчишке! В крике грешной, истерзанной, мятущейся ельцинской души было всё:

— и трусливая ярость («на кого еще ты так наедешь, козел?») ущемленного провинциального деспота,

— и стыд кандидата в члены Политбюро, унизившегося до соучастия в распаде СССР,

— и инфантилизм обманутого ребенка («а говорили — Град на холме... ревнители права и справедливости...»),

— и сосредоточенная ненависть к «стране Желтого Дьявола», навеки поселенная в сердце секретаря партийного комитета области, столицу которой — Свердловск — всегда называли «Танкоградом»,

— и особая безудержно-безжалостная памятьливость жестокого, дряхлеющего и политически талантливого (а значит, способного долго и умно мстить взлелеивать) человека.

Выкрикивавший политические заклинания старик, очень точно выбравший место для своего камлания (Пекин), не был в дан-

ном случае пьян. Он не грозил и не сублимировал. Он именно совершал магический обряд. И не просто магический, а социально-магический. Ельцин тонко чувствовал флюиды, исходящие от — растоптанного им и связанного с ним круговой порукой распада СССР — постсоветского общества. И он извергал в этот — мучающийся ожиданием чего-то нового — флюид свое «логосемя», осуществляя зачатие некоего, еще не персонифицированного на момент магического обряда, флюидного тела, имя которому — «пре-емник».

Кто-то, наверное, не обратил должного внимания на те ельцинские слова.

Кто-то, не понимая, над какой пропастью в те дни и впрямь завис мир, считал, что Ельцин валяет дурака. Что ж, он и дурака валял тоже. Но и не только. Это потом все обернулось приштинской, позорно амбициозной, хохмой. А перед этим... Перед этим был очень короткий временной интервал, когда действия на средиземноморском ТВД могли стать реальной завязью всемирного апокалипсиса. Был, был он, этот момент. Поверьте на слово человеку, не худшим образом информированному о тогдашних нетранспарентных политсюжетах.

Но, как ни важны были затеянные (и тут же чудом остановленные) апокалиптические дела, их логокомпенсаторная магия, вылившаяся в описанное мною камлание Ельцина, была в каком-то смысле еще важнее. Старый и больной человек вышел за рамки тщательно контролируемого им политического «эго» и, камлая, сам себя переделал (или же отчасти восстановил себя прежнего). Это уже немало. Но еще важнее было то, как слова трансформировали умонастроение элиты, элитный ментал, элитный (между прочим, тесно сопряженный с общенациональным) флюид. Словно бы Ельцин кинул щепотку логокатализатора в огромный политический котел, в котором нечто, вскипев, забулькало. Словно бы зачала под конец нечто, излившись в химерическую протосубстанцию элитного и общенационального унижения, больная ельцинская душа.

Душа эта — а не один холодный расчет укрывающегося от наказания политического преступника — участвовала, закливав перед этим самое себя, в назначении Путина премьер-министром РФ... А потом, за счет игры с досрочным уходом с поста президента РФ, в сотворении из премьер-министра Путина — и.о. президента РФ

Путина. Еще один игровой ход – и и.о. становится президентом. И все же раньше игровых ходов, позволивших сделать пешку ферзем, ходов не только ельцинских и не таких банальных, как принято полагать, было, убежден, это самое логозаклятие. Была алхимия слов. Если есть алхимия финансов, то почему бы не быть алхимии слов, не правда ли? Самым главным логореагентом в рамках этой алхимии было ельцинское бессодержательное выкрикивание проклятий в адрес забывшегося на минутку мерзавца Клинтона.

Это заклятие – как и иные политические слова – разве перестало жить своей, отдельной от Ельцина, жизнью после превращения Ельцина в пенсионера? Или после его ухода из жизни? НИКОИМ ОБРАЗОМ! Ельцина нет, а слова живут. И осуществляя свой неявный длительный программинг, он же ворожба, заклятие и так далее.

Тогдашние слова Ельцина сотворили некий невнятный и очень разнокачественный логоклубок, состоящий из сплетенных со словами в единое целое умонастроений, опасений, обид, комплексов, эмоций в диапазоне от трусости до ярости. Никто уже не помнит, наверное, как надрывно-патриотически стал Чубайс (не понимая даже, что с ним стряслось) подвывать Ельцину. Следом за вожаком стала подвывать стая. Логоклубок, состоящий из воя и подвываний, стал уплотняться и набухать. Состоялся своеобразный элитный логогенез, в чем-то подобный космогенезу, при котором из туманностей возникает планетарная система. Вот и тут – из туманности настроений и чувствований, осемененной словом-логосом, сотворилось нечто. Это нечто сделало не дозволенное ранее возможным и должным. И наоборот. Логоклубок превращался в логотело, логоструктуру, логосистему.

Идеология, читатель, – это не выдвижение программных документов и не поддержка этих документов массами. Это таинство, в котором освобождаются от благой предзаданности метафоры самого разного рода. И метафора о Слове, ставшем плотью (о чем уже говорилось), и метафора о сеятеле и семенах. Только и плоть, в которую облакается слово, может быть разнокачественной, и семя может дать не только благие, но и очень разные по своему качеству всходы.

Ты не удовлетворен отсылкой к религиозным метафорам, требовательный читатель? Тогда вспомни вполне на первый взгляд

светское, но далеко при этом не простое и отнюдь не лишенное своей загадочности описание таких-то и таких-то политиков как «рупоров» классовых интересов. Как, объясни мне, читатель, класс (или иная социальная общность) вкладывает свое смутное представление о нужном и должном в уста какого-то рупора? За счет чего некто, говорящий что-то, становится этим самым – пусть даже очень незатейливым – рупором? (И впрямь, зачем незатейливому классу затейливый рупор?)

И не надо, пожимая плечами, отмахиваться от странного, сводя его к тем или иным очевидностям, дочеловеческим в том числе. Да, есть феномен вожака стаи, передающего суггестивным путем некую информацию руководимому им зоосообществу. Да, в каком-то смысле любое человеческое сообщество, в том числе и класс, сохраняет связь со своей дочеловеческой подосновой. Да, класс – это тоже стая, способная «завестись» от мессиджей вожака. Я уже рассмотрел феномен подвывания Чубайса, как представителя стаи, вожаку – Ельцину. Я уверен, что речь идет именно о стайном рефлексе. Иначе почему бы человек, влюбленный в США, гордящийся своими связями с людьми типа Саммерса или Уолкера, вдруг завыл в унисон бывшему члену Политбюро в связи с тем, что США решили показать «кузькину мать» сербским националистам? Перефразировав Гамлета, можно сказать об этом, невесть откуда взявшемся, патриотизме Чубайса: «Что он Гекубе, что ему Гекуба – а ведь он воет». Актер, которому удивляется Гамлет, – это по преимуществу эмоциональное существо. И тут хоть что-то понятно. Но ведь Чубайс – существо антиэмоциональное и этим гордящееся.

Так, значит, стайный рефлекс, просыпающийся внутри социальной общности? Но такой рефлекс изучен лишь постольку, поскольку речь идет об очень определенных общностях! О толпах, о больших массах взбудораженных чем-то людей, высвобождающих свое стайное дочеловеческое начало в момент коллективной возбужденности, когда возбужденные особи находятся в прямом, плотном телесном соприкосновении. Это обсуждено Лебоном и его многочисленными последователями. И прекрасно используется дирижерами сегодняшних массовых политических действий.

Но я-то рассматриваю нечто совсем другое, в гораздо меньшей степени изученное. Живет себе класс... Или не класс, а другая социально связанная общность. Связная-то она связанная, но не слиш-

ком. К солидарности отдельные представители этой общности не тяготеют. Прямая коммуникация – по типу той, которая возникает во взбудораженной толпе, – явным образом отсутствует. Но общность тем не менее чем-то общим руководствуется. Чем?

Назвать «это» идеологией – язык не поворачивается. Скорее, надо говорить о флюиде из очень незатейливых и невнятных представлений, касающихся того, что правильно, что неправильно. Это не этика и даже не воровские понятия. Это какой-то нематериальный клей, как-то склеивающий особей, входящих в рассматриваемую общность. Тут многого не надо. Достаточно согласия, например, в том, что «совок – это пакость неимоверная, а америкосы – ребята правильные, не ломанувшиеся, в отличие от нас, дураков, в долбаный "совок"». Вот вам и весь клей. Какое-то время он сохраняет способность эту самую общность склеивать. А потом он такую способность теряет. Общность, казалось бы, должна бы была распасться по причине потери клеем склеивающей способности. Но она не распадается или не распадается до конца. Почему? Потому что уже клубится, соприкасаясь с отдельными социальными атомами (они же особи, формирующие общность), какой-то новый протофлюид, будущий социальный клей. И особи как-то чувствуют, что это новое пока не склеивает, но вот-вот начнет склеивать. Чуют – и трутся друг о друга, не разбегаясь.

«Что-то носилось в воздухе», – говорят о подобном все свидетели обсуждаемых мною переходных состояний. Носится это «что-то», носится. Толкает, берedit обеспокоенные атомы, не понимающие, разбегаться им или чего-то ждать. А потом уже и не очень-то авторитетный вожак бросает в протосубстанцию, способную стать клеем будущего, свою логосперму. И возникает новый клей, атомы сплетаются в новую логоткань, логоткань проходит фазы логогенеза, логогаз превращается в логослизь, логослизь – в логоклубок, логоклубок – в логотело... Я же не говорю, что это новое логотело совершенно, как Адам Кадмон. Оно ничуть не менее уродливо, чем предыдущее. Но оно реально и потому интересно. Вы хотите менять реальность? Нельзя это делать, не поняв оную. И ничего нельзя понять, если... Если неинтересно.

Итак, новые тела-логосы населяют тонкий мир классовых (или иных макросоциальных) интенций. Этот мир как-то соединяется с реальностью. Как? Конечно же, убого, а как иначе? Соединяется он убого, не до конца... Между тем уродливо-примитивным новым, ко-

торое поселилось в тонком интенциональном мире, и реальностью сохраняются огромные люфты. Интенциональный мир – это, знаете ли, капризы. А реальность... В ней вроде бы места капризам нет. Но это только вроде бы. Герой «Записок из подполья» Достоевского не зря сказал, выдвигая определенное кредо: «Стою же я за свой каприз». Представители класса, который я анализирую, – люди гораздо более земные, чем герой «Записок из подполья». Но... Россия – это Россия... И потому каприз в каком-то смысле и до какого-то времени малозначим, а в каком-то смысле и в какое-то время может перевесить существеннейшие рациональные интересы.

У класса (или иного сообщества), вроде бы настроенного не на то, чтобы капризничать, а на то, чтобы очень хищно и примитивно действовать, возникает новая, почти необъяснимая согласованность. Обнаруживается, например, что вчерашние незатейливые любители «дяди Сэма» начинают искренне говорить, что «америкосы – козлы» и что они «достали». У заговоривших по-новому может быть вид на жительство в США и... и мало ли что еще... бизнес, родственники... Но вот они уже говорят не то, что говорили прежде («америкосы – парни продвинутые»), а это самое «козлы» и «достали». Почему «достали»? Чем «достали»? Вы начнете это рациональным образом разбирать – и ничего не поймете. Повторяю – не Югославия же задела Чубайса, и не какие-то конкретные интерполовские неприятности задели других людей. Спрашивайте вы класс о том, что с ним стряслось, сколько угодно, устраивайте фокус-группы, зондируйте, тестируйте – не поможет. Пытайтесь устанавливать корреляции между бытием и сознанием – тоже не поможет. А вот если вы заглянете в тонкий интенциональный мир, где появились новые логообитатели (да назовите их хоть глюками и тараканами, хоть капризами, хоть как еще – какая разница?), то вы что-то поймете.

Мир высказываний – это относительно самостоятельный промежуточный мир. Под ним – дольный мир реальных дел, поступков, конфликтов, процессов et cetera. Над ним – горный мир теорий, концептов, доктрин, реальных полномасштабных идеологий. Оказавшись в промежуточном мире, вы встречаетесь со всего лишь высказываниями. Но с высказываниями политическими и потому превращающимися в автономные логосгустки, логотела, логосущности. Не брезгуйте их изучением! Изучайте эти тела и густки – так, как физик изучает реальные объекты и поля, эти сущности – как психолог

изучает пациента и собеседника. Замерьте интенсивность логополей, взвесьте логотела, поговорите с логосущностями как с тонкими структурами, способными к автономному поведению. Так Одиссей разговаривал с тенями в Аиде, стремясь найти путь в свою родную Итаку. Найти путь в Развитие – ничуть не более просто.

Логосгустки, логотела и, уж тем более, логосущности не откроют вам свои тайны, если вы не поступите как Одиссей, совершивший, как мы помним, жертвоприношение. Для того, чтобы вам открылись тайны промежуточного мира высказываний, вам, став жрецом оного, придется совершить нечто подобное. То есть оказать нужное давление на элементы мира, которые вы хотите раскрыть. Побудить эти элементы к раскрытию с помощью адекватного их сути воздействия. И это при том, что в принципе подобным элементам откровенность несвойственна.

Побудить их к оной вы можете, во-первых, связывая элементы друг с другом.

Во-вторых, связывая мир промежуточный с миром дольным.

В-третьих, связывая мир промежуточный с миром горним.

В-четвертых, осуществляя все экстра- и интрамирные связи одновременно. И не только одновременно, но и целостно, апеллируя к полноте этих связей и их взаимной обусловленности. Тогда тени (поля, тела и сущности) начнут повествовать о своем сокровенном смысле.

Требовательный нетерпеливый читатель, скажи мне, положи руку на сердце, имеет ли вкратце описанный мною подход какое-то отношение к филологической классике? К этому любимому детищу славшего свои позиции «доброе старое» гуманизма? Ведь совершенно ясно, что речь идет о другом. О чем именно?

Полноценный ответ на этот вопрос может дать только вдумчивое прочтение всего предлагаемого твоему вниманию исследования. А иначе зачем его твоему вниманию предлагать? Но для того, чтобы ты, странствуя, как Одиссей, располагал уже в начале пути и маршрутом, и средством передвижения, я позволю себе еще ненадолго занять твое внимание своими методологическими сентенциями. И завершить рассмотрение примера с рыком Ельцина по поводу забывшегося на минуточку американского наглеца.

Сотворил Ельцин в 1999 году этим своим рыком нечто, начавшее далее действовать автономно от зарывавшего старика? Безусловно. Логодетище ельцинского рыка, переструктурировав весь

тонкий мир классовых интенций, оказавшихся невероятно чувствительными к этому рыку, породило... нет, не реального Путина, а сначала феномен Путина. Именно феномен — почти бесплотный и бестелесный. А потом уже этот феномен породил реального Путина. Чем плотнее становился феномен Путина, чем активнее (и противоречивее) действовал уплотнившийся до консистенции реального мира Путин, тем более активно (и абсолютно независимо от ушедшего сначала из политики, а потом и из жизни Ельцина) дробились, сцеплялись, пухли, совокуплялись, укреплялись и ворожили, подчиняя себе реальность, все логосгустки, логотела и логосущности — совокупные детища рыка Ельцина. Дробясь, сцепляясь, вспухая, совокупляясь, укрепляясь и ворожа, эти сущности меняли весь ландшафт реальности, всю структуру классовых рго и contra.

Так возникло новое политическое время, в котором мы прожили восемь лет. И неужели, требовательный и нетерпеливый читатель, ты посмеешь сказать, что восемь лет — это мало? Через восемь лет после победы в Великой Отечественной войне умер Сталин. Восемь лет — это уже невыводимый из истории, да и из жизни нашей, временной интервал. Надо всем этим временным интервалом в каком-то смысле довлел и продолжает довлеть тот старческий рык с его производными. Тот старческий рык, чья информационность, измеряемая узко понимаемой содержательностью, строго равна нулю.

Так правомочен ли, о требовательный и нетерпеливый читатель, подход к политическому слову с позиций узко понимаемой содержательности? Рычащий Ельцин открыл нам нечто содержательно-новое своим рыком? Ничего банальнее прямого содержания этого рыка, повторяю, нет и не может быть.

Так, значит, потенциал политического слова измеряется не узко понимаемой содержательностью? Или, по крайней мере, не только ею? Если бы ельцинский рык обернулся мировой катастрофой, а значит, и реальным горем для тех, кто тебе дорог (а так, поверь мне, могло быть), ты все равно, читатель, продолжал бы рассуждать о буквальной (абсолютно очевидной) банальности произнесенных Ельциным слов?

В итоге слова Ельцина, упав на нужную классово-интенциональную... не почву даже, а влагу, породили логопроизводные. А логопроизводные породили феномен Путина. Или, если тебе этот термин нравится больше, классовый запрос на Путина (на самом деле, это

одно и то же). Запрос оформил Путина, мы оказались в новом политическом зоне — зоне патриотизма, стабильности, суверенитета. Мы прожили в этом зоне восемь лет... Немалую, признаем, часть своей сознательной жизни. Теперь начинает распадаться, слабеть, терять свою связующую способность и этот классово-интенциональный клей, являющийся пародией на идеологию в той же степени, в какой сам класс является пародией на буржуазию.

И чем-то иным снова запахло в воздухе: «Не, хорош! Великая энергетическая держава... Национальное возрождение... Знай наших... Американский козлизм... Всё так, конечно. Но... эта... жевано-пережевано... И почему-то не согревает... Глядь-ка, Медведев! То ли есть он, то ли нет его... Глядь-ка, развитие...»

Что-то произошло с логополями, логотелами и логосушностями. И ткется, ткется, ткется новый фантом, уплотняющийся при переходе из тонкого мира в мир реальный. Это тебе не выборы, читатель. Это круче: «Глядь-ка, вона как! Путин — премьер и партийный лидер... Медведев, наивернейший путинец, — президент... Без поллитры не разберешься... Не, чего-то хочется... То ли севрюжины с хреном... То ли... чтобы... эта... словом, развитие».

В очередной раз слабеющий клей грозил превратить класс, то есть общность, в совокупность недоумевающих социальных атомов. И — на тебе, развитие...

С точки зрения фактов-высказываний (и мы чуть позже убедимся в этом со всей аналитической непреложностью), о развитии заговорил (или даже беспрестанно говорил) Владимир Путин. Но, пока работал предыдущий клей («нет смутьянам», «даешь и рынок, и государство», «мы — энергетические гиганты», «американцы — козлы, и достали до невозможности», «руки прочь от суверенитета»), слова о развитии мало что значили. А вот когда клей выдохся и что-то новое начало носиться в — гнилом и смрадном донельзя — интенциональном классовом воздухе... вот тут-то... Тут-то началась новая логоворожба. Она же — сотворение нового клея.

Анализ этой ворожбы (она же — благопожелания по поводу какого-то там развития) с позиций содержательности как таковой не более эффективен, нежели анализ с тех же позиций ельцинского рычания по поводу Клинтона.

Интересно не узко понимаемое содержание слов (хотя и его надо подробно анализировать). Не политическая игра... Не классовая блажь даже... Интересно не все это — более или менее ско-

ропортящееся. Интересна та логоалхимия (которая и впрямь в чем-то близка к алхимии финансов в ее понимании Соросом), которую слова запустили. Интересен политический котел, напоминающий тот, в котором ворожили ведьмы из «Макбета». Он, котел этот, определяет судьбу развития в России и мире. Оторвать слежение за его пузырями от судеб развития, конечно, можно... Но коль скоро судьба понимается как нечто политическое par excellence, то подобный отрыв судьбы от политического котла – контрпродуктивен и смехотворен.

Любая обычная аналитика развития, уведя от связи котла и развития как такового, выведя за скобку судьбу, расскажет все о параметрах развития и ничего о развитии. Логоаналитика может связать параметрическое с ворожкой. Если предметом является судьба... Если судьба – это именно предмет, то есть то, что исследуют, а не о чем судачат... То не может быть у подобного предмета иной, не логоаналитической, методологической оснастки.

Политики в России, да и не только в России, никогда ни о чем не говорят зря. Смысл политического высказывания в высшей степени не тождествен буквальному смыслу сказанных слов. А потому политическое высказывание всегда является в той или иной степени иносказанием. И степень этой иносказательности не слишком зависит от воли авторов.

Сказанное Путиным и Медведевым о развитии может (а) поспособствовать развитию, (б) усилить регресс, (в) повлиять на что-то, не имеющее прямого отношения к развитию и регрессу, но весьма и весьма существенное. Например, на устройство политической власти. Но к чему-то стержневому эти слова (повторяю – вне зависимости от воли их авторов) обязательно имеют отношение. К чему?

Ответ на этот вопрос требует вдумчивого и даже скрупулезного исследования – не чего-нибудь, а магии политических слов. Я предложил метод исследования и готов его применить. Об адекватности метода и полученных результатов судить не мне, а читателю. Но пусть, уже начав знакомиться с текстом исследования, читатель примет во внимание мой исходный посыл, согласно которому заговори Путин и Медведев не о развитии, а о целебных свойствах русского кваса... Заговори они об этом так, как заговорили о развитии, – настойчиво, сверхпублично, многократно возвращаясь к теме, перебрасывая друг другу тему, как волейбольный мяч, – это их «речение о квасе» имело бы значение, и немалое. Не скажу, что

такое, как речение Дэн Сяопина о пекинской опере, с которого начался новый курс, создавший современный Китай. В России все, конечно, происходит и более рыхло, и еще более парадоксально в смысле соотношения самих слов и их воздействия на реальность... Но это не значит, что в России НЕ ПРОИСХОДИТ НИЧЕГО. Что-то — происходит. И это «что-то» как-то связано с высказываниями. Как именно? Вот это-то и надо исследовать.

Я лично убежден, что путинские и медведевские слова о развитии будут — уйдя на второй или третий план или оставаясь на первом — ворожить, причем очень разным образом. Разным и разнокачественным.

Они войдут в те или иные соотношения со словами на ту же тему, сказанными сторонниками и противниками власти. А также теми, кто является противником, притворяясь сторонником, и наоборот.

Судьба Путина и Медведева — это одно. Судьба того, что породили и породят их слова о развитии, — другое. Брошенные в политический котел, эти слова уже ворожат. Не слова надо анализировать в отрыве от реакций в котле. Надо анализировать ворожбу.

А я подую в решето.

Благодарю тебя за то.

Личные судьбы Банко и Макбета... Можно ли к ним сводить бульканье того — и поныне судьбоносного для Шотландии — метафизическо-политического котла?

Сталинское «Марксизм и вопросы языкознания» не может и не должно получать Нобелевскую премию или иную академическо-лингвистическую награду. Но в исследованиях, посвященных все еще булькающему у нас политико-метафизическому котлу, этот текст фигурирует иначе, чем... ну, я не знаю... исследования Сосяра или даже того же Марра, которому оппонирует Сталин.

В путь, читатель! А ну как мы, взявшись за исследование не ахти каких, с научной точки зрения, текстов, поняв, как эти тексты соотносятся с иными высказываниями, с логикой политической борьбы, с разного рода контекстами (как интеллектуальными, так и политическими)... А ну как мы, поняв это и многое другое, прикоснемся к чему-то новому, касающемуся нашей судьбы, да и судьбы мировой?

К чему именно? Не хочу забегать вперед... Но, если мы хотя бы разберемся совсем иначе с очень банально сейчас трактуемым яв-

лением под названием «перестройка»... Если окажется, что перестройка эта не наше частное злоключение, а слагаемое далеко идущего мирового процесса, причем процесса не только не завершено в 1991 году, но и стремительно набирающего обороты... Неужели и тогда мы будем отрицать наличие связи между частным (высказываниями VIP-персон о развитии) и общим (судьбой страны и мира, нашей судьбой)?

Вообрази себе, читатель, множество дверей, одну из которых тебе надо открыть. Ты пристально вглядываешься в каждую из дверей... И вдруг видишь, что все они без замков — все, кроме одной. Потом ты видишь пластилин, металлические болванки, верстак, напильник, тиски... Ты понимаешь, что открывать-то надо ту дверь, у которой есть замок. Ты, конечно, не слесарь-профессионал. Но тебе надо попасть в комнату, которая находится за дверью. Чертыхаясь, ты делаешь слепок с замочной скважины и начинаешь изготавливать ключ, уродуя одну болванку за другой. Наконец, остается последняя болванка. Ты фокусируешься на изготовлении ключа, понимая, что всё — последняя попытка. Ты уже приобрел какие-то навыки, изуродовав пару сотен болванок. И — о, чудо! — тебе удалось изготовить ключ. Ты вставляешь его в скважину... Поворачиваешь... Дверь открывается... Главное — за порогом. Там тебе САМОМУ придется разглядывать комнату, прикасаться к загадочным предметам, узнавать нечто и меняться в процессе этого узнавания.

Коль скоро это так и тебе действительно нужно войти в эту самую комнату, ты ведь не будешь капризничать по поводу необходимости, сбивая руки в кровь, изготавливать этот самый ключ, занимаясь не своим — слесарным — делом. А если будешь — то в комнату не войдешь. Решай, читатель. Нужна комната? Принимайся за изготовление ключа. То есть за внимательное прочтение этого странного сочинения.